

ИНГМАР БЕРГМАН
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

ИНГМАР БЕРГМАН



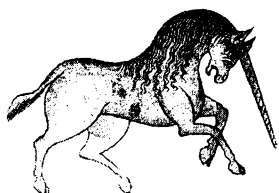
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

ИНГМАР БЕРГМАН

ИНГМАР БЕРГМАН



ПРЕДСТАВЛЕНИЯ



INGMAR BERGMAN



FÖRESTÄLLNINGAR

ИНГМАР БЕРГМАН



ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИНДРИК»
Москва 2005

УДК 821.113.6-21

ББК 84.4Швед.

Б 48

*Издание осуществлено при финансовой поддержке
Шведского института*

*Boken är utgiven med stöd av
Svenska Institutet*

Бергман И.

Представления. Киноповести / Перевод со шведского А. А. Афино-
геновой. — М.: Индрик, 2005. — 224 с.

ISBN 5-85759-302-6

В данное издание включены три киноповести всемирно извест-
ного шведского режиссера театра и кино Ингмара Бергмана, кото-
рый хорошо знаком российскому зрителю и читателю. По одной из
вошедших в книгу повестей — «Неверные» в 2000 году Лив Уль-
манн поставила фильм, имевший большой успех как в Швеции, так
и за рубежом. Две другие киноповести «Дело души» и «Любовь без
любовника» представляют собой давние сценарии Бергмана, кото-
рые пока не нашли своего воплощения в кино.

© Ingmar Bergman, 2000

Norstedts Förlag, Stockholm

© Перевод. Афиногенова А. А., 2005

© Оформление. Издательство «Индрик», 2005

ISBN 5-85759-302-6

СОДЕРЖАНИЕ

НЕВЕРНЫЕ.....	7
1	9
2	21
3	30
4	41
5	54
6	58
7	62
8	71
9	76
10.....	87
ДЕЛО ДУШИ	95
I.....	97
II	101
III	102
IV	104
V	105
VI	106
VII.....	108
VIII	109
IX	112
X	113
XI	114

ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛЮБОВНИКА.....	117
1	119
2	126
3	136
4	145
5	161
6	169
7	192
8	214

НЕВЕРНЫЕ



Партитура для одного средства изображения

*Посвящается
Лене и Лив*

НЕВЕРНЫЕ

Партитура для одного средства изображения

Ни одна форма обычной неудачи, будь то болезнь, экономический крах или профессиональный неуспех, не отражается так жестоко и глубоко в подсознании, как развод. Он непосредственно затрагивает причину всех страхов и пробуждает их к жизни. Одним махом развод проникает в те глубины, до которых жизнь вообще способна дойти.

Бото Штраус

1

Теплый день в начале лета. Окно открыто. Шумят сосны и море. Я сижу за письменным столом, который стоит в центре комнаты. По краю стола неуверенно ползет рыжий жук. Я совершенно уверен, что кто-то стоит у меня за спиной, хотя дверь не открывалась и не закрывалась. И так, кто-то стоит у меня за спиной, но это не Смерть. Голос тихий, я бы сказал хорошо поставленный.

Голос. Значит, ты хотел, чтобы мы «поиграли и пофантазировали».

Бергман. Попытаться-то можно.

Голос. Ты именно так и сказал: «поиграли и пофантазировали».

Бергман. Звучит неплохо. Тебя нет, и все-таки ты есть.

Голос. Чтобы эта затея доставила нам хоть какое-нибудь удовольствие, тебе придется описать меня. И довольно подробно.

Бергман. Сядь в кресло у окна, я должен тебя видеть.

Голос. Не сяду, пока ты не опишешь меня.

Бергман. Так-так. И с чего мне начать? Ты привлекательна. В высшей степени привлекательна.

Голос. Прекрасное начало! Сколько мне, по-твоему, лет?

Бергман. Сколько лет? Подожди-ка, ты закончила театральное училище что-то около семнадцати лет назад, стало быть, тебе около сорока.

Голос. Я актриса? Не ожидала.

Бергман. Не правда ли? Ты считаешься талантливой, и о таком дебюте, какой был у тебя, можно только мечтать — Джульетта, Гретхен, Сольвейг и все такое прочее. Потом карьерный рост замедлился. Но у тебя все в порядке, так что не беспокойся. Кстати, мы вместе работали.

Голос. У нас что-то было?

Бергман. К сожалению, нет. Наши отношения были строго ограничены репетициями с десяти до трех.

Голос. Я замужем?

Бергман. Ты замужем за дирижером. Он на два года моложе тебя и принадлежит, так сказать, к высшим слоям общества. Сейчас он делает головокружительную международную карьеру. Вообще-то, я не слишком осведомлен о вашей личной жизни (пока, ты мне поможешь). У вас обоих большие, щедрые семьи.

Голос. У нас есть дети?

Бергман. У вас дочь, ей девять лет. Она похожа на мать и по развитию обогнала свой возраст. Ее зовут Исабель.

Голос. Как я выгляжу? Опиши меня поподробнее.

Бергман. Ты привлекательна, но это я уже говорил. Статная. Блондинка, с едва заметным рыжеватым оттенком. Ты явно довольна своими густыми блестящими волосами, которые ты никогда не красила. Да, есть на что посмотреть. Но в связи с беременностью ты постриглась. Не знаю почему.

Голос. Практическая мера, больше ничего.

Бергман. У тебя, что называется, хорошее лицо, подходящее как для драмы, так и для комедии. Синие глаза. Иногда у тебя такой вид, будто ты удивлена, хотя на самом деле нисколечки не удивлена.

Голос. Может, я принадлежу к тому типу людей, которые все время удивляются?

Бергман. Вовсе нет. Ты поднимаешь свои красивые брови и распахиваешь свои выразительные глаза. Это происходит внезапно, без малейшего повода. У тебя дружелюбный изгиб губ. Нос довольно крупный, до пикантности. В юности ты была недовольна своим носом, но с годами убедились, что и в жизни, и на фотографиях он приносит тебе успех, и поэтому отказалась от всяких мыслей исправлять свой профиль. Линия от подбородка до уха, можно сказать, со-

вершенна. Ни морщинок, ни складок. Две почти незаметные черточки возле глаз. И все.

Голос. Ты описываешь Марианн?

Бергман. Что ты знаешь о Марианн?

Голос. Не слишком много. Знаю только, что у вас несколько лет был бурный роман, о котором широко говорили. Так это Марианн?

Бергман. Нет, не Марианн, честное слово. Но у тебя ведь должно быть имя. Марианн подходит? Марианн Фоглер. Ты оставила девичью фамилию. Марианн Фоглер, актриса. *(Молчание; пауза.)*

Марианн. Значит, теперь я существую?

Бергман. Вообще, если подумать, как-то странно получается. Несколько часов назад тебя не существовало. И вдруг ты в высшей степени реальна. И не понарошку, а всерьез. Расскажи, как ты одета.

Марианн. На мне удобный брючный костюм, белая водолазка и итальянские туфли на низком каблуке.

Бергман. Теперь ты можешь сесть в мое старое кресло, там, у окна, и положить ноги на скамеечку. Вот так.

Марианн. Я сниму пиджак. Он тебе нравится?

Бергман. Положи его на подоконник. Да, нравится.

Марианн. У меня нет никаких недостатков?

Бергман. Тебе не дают покоя слишком длинные большие пальцы на ногах, из-за которых тебе приходится носить обувь большего размера.

Марианн. Не мог найти не такой прозаический изъян?

Бергман. Нет, моя фантазия предпочитает твои большие пальцы.

Марианн. У меня есть любовник?

Бергман. Подожди! Не спеши. Мы же хотели пофантазировать. Посему, мне кажется, ты должна рассказать о своем прошлом. Расскажи о своей прошлой жизни, Марианн!

Марианн. Ну, что тебе сказать? Отец был удачливым бизнесменом, активным политиком, чуть не стал министром в буржуазном правительстве. Но тут с ним случились два инфаркта, а третий свел его в могилу. Он, наверное, был славным человеком, но у нас не было возможности узнать друг друга лучше. Я помню лишь его крупную, жесткую руку. Отношения между отцом и матерью носили весьма специфический ха-

ракти. Они были сильно привязаны друг к другу, я словно бы оставалась в стороне. Это не причиняло боли, но я испытывала ревность к своей красивой, веселой, статной маме. Даже не знаю. Когда отец умер, она была безутешна. Думаю, она и до сих пор безутешна, только не показывает своего горя. Она любит внуков — Исабель и ее кузена-одногодку Фабиана. (Ты представляешь себе, как можно назвать беззащитного ребенка Фабианом?) Но моя сестра, доцент кафедры славянских языков, всегда отличалась придурью, мы едва общаемся. Так. Закончив гимназию, я начала изучать историю искусств и играть в любительском театре. И учиться было увлекательно, и играть на сцене тоже. Потом я влюбилась в довольно посредственного актера. Он считал, что я должна бросить театр — из-за отсутствия таланта. Ну, и я решила поступать в театральное училище, куда меня приняли без звука. У мамы мои театральные амбиции не вызвали никаких возражений. По-моему, в юности она сама питала расплывчатые мечты о творческой стезе. Она рисовала, занималась живописью, играла на рояле. После замужества с этим было покончено. Не знаю почему. Наверное, за ненужностью. Говорят, что внешне я похожа на мать, но все остальное унаследовала от отца.

Бергман. А вы с сестрой?

Марианн. У нас было множество кузенов (ни одной кузины). Все старше нас, они нам заменили братьев. Нам было хорошо вместе, семьи встречались по любому поводу.

Бергман. Устоявшееся, благополучное, надежное существование?

Марианн. А это плохо?

Бергман. Нет, нет. Просто констатация.

Марианн. Мне показалось, что ты немного иронизируешь. Ну ладно, годы моего взросления никоим образом нельзя назвать несчастливыми, и счастливыми их тоже не назовешь. Я была хорошо воспитана и совершенно дезориентирована, как и многие девушки моего поколения. Время учебы в театральном училище оказалось болѐе сложным. Или — прости за штамп — более бурным. Я пережила несколько сомнительных романов — все с мужчинами намного старше меня. Это было почти смешно, но слез было пролито немало. Я стала бояться близости. Но и одиночество меня страшило. Так что

уравнение никак не решалось. Маркус появился, так сказать, в нужный момент. Один умный человек сказал, что силу влюбленности надо мерить тем одиночеством, которое предшествовало влюбленности. Не прошло и года, как мы поженились, все было неопишимо шикарно, блестяще, весело. А что, собственно говоря, тебе *нужно*?

Бергман. Точно не знаю. Наберемся терпения.

Марианн. Если я тебе срочно не нужна, то ты и глазом моргнуть не успеешь, как я исчезну. Если же я тебе действительно нужна, то терпения у меня будет предостаточно. Ты несколько минут назад сказал, что мы «поиграем и пофантазируем».

Бергман. Мы как раз и начали.

Марианн. Мне, наверное, следует тебя предупредить. С фантазией у меня неважно. В своей профессии я, например, строго придерживаюсь конкретных вещей. А вот у моей дочери фантазия бьет ключом. Она рассказывает бесконечные сказки и сны, играет в странные игры.

Бергман. Я думал, мы поговорим о Давиде.

Марианн. О господи! В таком случае придется начинать с начала. Не так ли? Это может оказаться весьма мучительно. Тебе это не приходило в голову?

Бергман. Я подозреваю. Но хочу, чтобы мы попробовали. Если все пойдет слишком далеко, мы остановимся — и найдем какой-нибудь другой предмет для разговора.

Марианн. Прости, но с тобой что-то не так. Ты на самом деле всегда чувствуешь себя гроссмейстером твоей действительности? Умеешь ли ты управлять своими чувствами так, как тебе этого хочется? Осознаешь ли ты, что манипулируешь собой и другими? Как своего рода прекрасно спланированной постановкой? Ты режиссируешь и в свободное время.

Бергман. Когда-то я считал себя властелином вселенной. Особенно в детстве. А теперь нет. Теперь я старик. Та действительность — борьба не на жизнь, а на смерть, которую я изучал и от которой так успешно уворачивался, догнала меня и заставила замолчать. Наши с тобой робкие упражнения — просто слабая попытка вновь завоевать утраченную территорию. Поэтому давай вооружимся терпением. Фантазия сегодня — это вынужденный соратник, или скорее противник. Давай поговорим о Давиде. Поговори со мной о Давиде.

Марианн прислушивается к моей мольбе, испытующе смотрит на меня и, похоже, принимает решение: хорошо, поговорим о Давиде.

Марианн. И Давид, и мой муж охотно работали над оперными спектаклями. Давид ставил, Маркус дирижировал. За несколько лет они сделали немало совместных постановок. Да ты знаешь: «Так поступают все женщины», «Енуфа» (?), «Похождения повесы» — «Лоэнгрин». Ну и, конечно, «Непорочная невеста».

Бергман. Я прекрасно помню «Невесту». Великолепный спектакль, только его почти сразу сняли.

Марианн. Зрителей не было. (*Смеется.*) Ни единого. Но Давид с Маркусом руки не опустили, а начали планировать дальнейшую совместную работу. Им нравилось общество друг друга. Давид часто и с удовольствием приходил к нам гости. Он был женат (во второй раз), но его брак трудно было назвать удачным. Двое сыновей, восьми и шести лет.

Бергман. А что ты делала в это время?

Марианн. Мы играли «Бесприданницу» Островского. Я была бесприданницей. Но мы же собирались говорить о Давиде? (Конечно.) В то время он был совершенно выбит из колеи и слишком много пил. Одновременно работал над постановкой «Долгий день уходит в ночь». Поскольку он ушел из дома и жил один, у него, само собой, появлялись дамы, но это мелочи. Так вот, поскольку он жил один и махнул рукой и на себя, и на свою язву желудка, я обычно приглашала его на обед по понедельникам — в понедельник мы не играли. Маркус всячески поощрял наш ритуал, даже когда сам был на гастролях... По-моему, они с Давидом дружили по-настоящему. Исабель тоже привязалась к Давиду. Он с энтузиазмом смотрел ее импровизированные кукольные представления. И с восхищением слушал ее вечерние сказки. Он уверял, что от Исабель исходит какая-то магия. Они нередко ходили вместе в кино и в театр. Больше ничего примечательного не было — ничего примечательного...

Бергман. Почему ты плачешь?

Марианн. Видишь ли, мне очень тяжело. Я, наверное, думаю... не понимаю, почему это причиняет такую боль, ведь все в далеком прошлом. Но страшно больно. А все ты с твоими «фантазиями». Может, это ты плачешь?

Бергман. Нет, не я.

Марианн. Последнее представление «Бесприданницы». Все благодарили друг друга, обнимались, ну, эти воспаленные проявления чувств, которые так привычны для театра. Мы выпили шампанского, попрощались, выпили еще. Церемония немного затянулась. Я пошла в гримерную, сняла грим и закурила, в кои-то веки. Когда я спустилась к служебному выходу, увидела там его, Давида.

Бергман. Он тебя ждал?

Марианн. Очевидно. Но вид у него был какой-то странно отсутствующий, и говорил он с трудом, нет, нет, он не был пьян. Я поинтересовалась, как дела. Он засмеялся и ответил, что ему больно. Так больно, что он едва может двигаться, даже говорить больно. Я спросила, не попытаться ли нам найти врача. Мило улыбнувшись, он заверил меня, что это не того рода боль. Я предложила куда-нибудь пойти перекусить, выпить пива, он отказался. Тогда я предложила поехать ко мне, поболтать. Маркус, правда, в отъезде, ну да ничего. Давид сразу же согласился, этого-то ему хочется больше всего. Мы сели в мою машину и поехали на нашу виллу на Лидингё. Я отпустила мою незаменимую финскую няню (ее зовут Силья), и мы зашли к Исабель, — она проснулась и позвала нас. Исабель обрадовалась, увидев Давида, и тут же предложила рассказать ему сказку. В это время я успела надеть халат и расчесать волосы. Приготовила омлет, откупорила бутылку вина. Мы непринужденно болтали, я видела, что Давид успокаивается, убирает колючки. Он почти стал самим собой, милым, проявляющим заинтересованное любопытство человеком.

Бергман. Может, ты его опишешь?

Марианн. Это необходимо? Э! Давид и есть Давид. Сорок лет. Талантливый, но непредсказуемый. Милый и заботливый, когда подвернется случай. Бесцеремонный и чудовищно жестокий, когда чувствует, что загнан в угол. Никогда не знаешь. Друзей не много, но он им непоколебимо верен. Гораздо больше врагов. Педантичен и обязателен в работе, а в личной жизни все через пень-колоду. Не знаю, что еще сказать. Мы же дружили все эти годы, — были друзьями по училищу, по работе. Разумеется, можно еще много чего рассказать про Давида, но мне ничего не приходит в голову. (*Сокрушенно.*)

Бергман. Про вашу связь, возможно? Прости за вопрос.

Марианн. Связь? С Давидом? Даже ни намек. Скорее родственные отношения. Он скорее был младшим братом.

Бергман. Итак, вы сидели и болтали.

Марианн. Меня все больше клонило в сон. Но Давид разошелся вовсю, он рассказывал о некоем задуманном им великом проекте. Нет, все было весьма респектабельно. Появись вдруг Маркус, нам бы не пришлось краснеть. Давид сидел на большом диване, а я на маленьком. Он снял пиджак, его рука покоилась на спинке дивана. Время от времени он кулаком бил по подушке. А в промежутках внимательно рассматривал свою ладонь. У нас обоих слипались глаза, и я подумала, не пора ли братцу и сестричке баиньки. Но внезапно Давид заговорил о причине своего появления в театре. Речь шла о нарушении данного ему обещания. Дело в том, что он наконец-то собрался к началу лета снять фильм. Юхан обещал сыграть одну из главных ролей. Но потом ему предложили съемки за границей, ну, ты же знаешь Юхана. Ссоры не произошло, состоялся лишь вежливый телефонный разговор. Но Давид страшно расстроился, поскольку отказ Юхана ставил под сомнение весь проект. Он посчитал, что его предали и унизили. Ведь Юхан был другом. Вся эта ситуация оставила в душе Давида неизгладимую горечь. Наверное, еще и потому, что Давид сам склонен к предательству в определенных обстоятельствах. Знание собственной природы не входит в сферу его талантов. Итак, он был в бешенстве. И проклинал Юхана за то, что, скорее всего, сделал бы сам.

КОММЕНТАРИЙ:

Я предполагаю, что часть рассказа Марианн переплетается с игровыми сценами — с репликами или без оных (я имею в виду, что косвенная речь будет переходить в диалог, вариант — сцены, где голос Марианн звучит за кадром).

Марианн. Во время нашего разговора шторм утих. Я предложила другого актера, Давиду эта идея показалась превосходной, даже лучше, чем Юхан, которому «роль была предложена в основном ради старой дружбы». Наступило сонное молчание, по-моему, я задремала. Потом я услышала,

как Давид что-то бормочет. Он бормотал, отвернувшись. Я поняла, что он сказал, но все-таки переспросила. Тогда он повернулся ко мне и поинтересовался, не хочу ли я предаться с ним любви. Он произнес слово «любви», это я помню отчетливо. Я чуть ошарашенно засмеялась, предложение, судя по всему, не было уж таким спонтанным. И сказала что-то в том духе — мол, милый Давид, и как же, по-твоему, черт побери, мы сможем это осуществить. На этот вопрос ответа я не получила. Слишком поздно ты до этого додумался, мне завтра рано вставать, Исабель надо в школу, у меня пробы грима, в половине одиннадцатого репетиция. Тогда я предлагаю лечь спать, покорно согласился Давид. Я имею в виду, раздельно. Ты в спальне, а я в удобной комнате для гостей на втором этаже. Лишняя зубная щетка у тебя наверняка найдется. Я наклонилась, чтобы задуть свечи, и вдруг услышала собственные слова, которые вовсе не собиралась говорить — что, мол, если ты хочешь лечь в моей спальне, то это не возбраняется. Я хочу сказать, если ты страдаешь от одиночества, если тебе грустно и все такое. И если тебе нужно поддержать кого-то за руку, я с удовольствием дам тебе свою руку. Давиду понравилась эта мысль, мы встали и отнесли бокалы и бутылку на кухню. Потом разделись, словно были женаты уже много лет. Я дала ему пижаму и зубную щетку, а сама надела свою любимую застиранную ночную рубашку, приоткрыла окно, завела будильник на час раньше обычного и предупредила Давида, чтобы он не рассчитывал на завтрак, потому что ему надо уйти до того, как проснется Исабель, иначе у нее могут возникнуть вопросы. Ладно, все это было хорошо и правильно, по крайней мере не было ошибкой; мы легли на просторную кровать, я погасила свет, и мы по-прежнему оставались братом и сестрой, без малейшего намека на инцест. Давид несколько раз тяжело вздохнул, я, решив, что его опять одолела хандра, протянула ему руку, и мы заснули, словно бы всегда спали вместе. Давид, лежа на спине с открытым ртом, вскоре начал тихо похрапывать. Я пожала его руку, он выпустил мою и перевернулся на бок. И я заснула, но спала недолго. Давид уже успел перевернуться еще раз, и его спящее лицо оказалось прямо перед моим. Его тихое дыхание оведало мой лоб, от него пахло сном и

чем-то детским, как молоко. Я лежала на спине, повернув голову к лицу Давида. И смотрела на него. В комнате было не слишком темно, потому что внизу на улице горел фонарь. Но стояла мертвая тишина, я помню, что я об этом подумала, я слышала удары своего сердца. И вот тогда-то я *попалась*, если можно так выразиться. Я уверена, что именно тогда я *попалась*. Я повернулась на бок, чтобы разглядеть его как следует, и *посмотрела* на него как следует. Я смотрела *как следует*, и вдруг, да, вдруг, поняла, что никогда не видела этого человека. Я никогда не видела его, этого незнакомого, стареющего ребенка, этот неизвестный мне мир. Или что-то, что просуществует всего секунду и больше не вернется, я его больше никогда не увижу. Но я подумала (нет, слово «подумала» совершенно не подходит в этой связи, потому что «подумала» — нет, я вовсе не думала), но какие-то чувства — нет, это тоже неверное слово — я просто была крошечной частичкой чего-то загадочного — все слова в такой ситуации кажутся странными, так что я сдаюсь, — все равно я не в силах объяснить, что произошло. В любом случае это было нечто очевидное, нечто, что навсегда останется во мне, в моем «теле», если уж так необходимо обозначить место. Собственно говоря, я находилась внутри своего зрения и слуха, и это несомненно было делом, касавшимся души. Которое очень скоро изменит мою жизнь и жизнь многих других людей. Я должна тебя спросить. Это все еще «игра»?

Бергман. Что бы ты ни говорила, что бы ни думала, мы, черт побери, играем. То, о чем мы с тобой говорим сейчас, в эту минуту, есть наше общее творение, которое мы возводим на обломках давным-давно демонтированной, практически уничтоженной действительности. Если уж необходимо быть точнее и попытаться определить позицию. Что сомнительно.

Марианн. А зачем же тогда мы «играем»?

Бергман. Развлечение перед смертью, только и всего. В том тесном, полутемном временном пространстве, которое мне еще остается, что-то происходит лишь из-за плотно спрессованного времени. Приходят в движение вздох, завихрение, даже забытые чувства. Кроме того, что касается лично меня, я начинаю усердно и, быть может, с некоторым страхом искать ответы на вопросы, которые я забыл задать. Неразгаданные

загадки, да-да. Потерянные выводы. Вопросы, отзывающиеся пустотой, но едва слышно. И ты думаешь: я немножко поиграю, вдруг поможет, я пофантазирую на почти забытую тему. Попрошу Марианн помочь мне, в основном потому, что так приятно быть с ней рядом. И мы играем, ставя все более жесткие требования, хотя решили поступать наоборот. И нам все труднее закончить. Нам больно, но мы не заканчиваем. Правда кроется, возможно, где-то в глубине игры. В том спрессованном пространстве, в котором мы двигаемся, правда — это глоток свежего воздуха. Мне кажется, мы ловим ртом воздух в пыльных сумерках. И ищем точки опоры. Думаешь, вот, *сейчас*, сейчас я увижу тень чего-то большого, бесформенного. И я говорю тебе — *сейчас*. Но это всего лишь старая латерна магика с дурацкими, наполовину стертыми стеклянными изображениями. Им нечего сказать. И игра продолжается. И мы со страхом спрашиваем себя, действительно ли это можно назвать «игрой».

Марианн. Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду, но, наверное, что мы должны продолжать — ладно, давай. Хотя мне не слишком нравится эта роль. Но я не стану усложнять дело. По крайней мере пока. В таком случае возникает вопрос — с какого момента мы продолжим.

Бергман. Например, с письма Давида.

Марианн. С письма Давида. Что ж, пожалуй. По-моему, это письмо у меня в сумке. Да, вот оно! Я получила его на следующий день после той злополучной ночи. Оно лежало на вахте в театре. Подожди, сейчас прочитаю. Надо зажечь свет, черт, куда подевались мои очки? А, вот они. Итак: я буду запинаться, ты уж извини. Давид пишет от руки. И небрежно. Итак: «Дорогая Марианн. Моя дорогая Марианн (я с чистой совестью могу написать «моя дорогая Марианн», поскольку не знаю никакой другой Марианн). Я спал, спал, и тут зазвонил будильник, и у нас чуть было не произошел инцест. Но мне надо было уйти до того, как проснется Исабель, посему инцеста не случилось. Кстати, спасибо за твою дружескую опеку, она мне очень помогла. И спасибо, что дала мне свою руку. Твой друг Давид». Вот и все письмо. Весьма сжатое определение позиций. Я выключу лампу, ладно? Да, а как по-моему, идут мне очки? Первая остановка на пути к старости.

Бергман. Ты все так же привлекательна. Особенно в сумеречном освещении. Черт, как летит время. Уже наступили сумерки. Только что был светлый день.

Марианн. Признаться, Давид выразился довольно четко. Я пребывала в состоянии хаоса, которое не поддается описанию. Решение, принятое мной ночью, такое очевидное, улетучилось.

Бергман. Подожди. Ты ничего не говорила о каком-то решении.

Марианн. Я имею в виду — Давида. Это было столь же неизбежно, как у Тристана и Изольды, только без кубка с ядом и без музыки. Если добавить чуточку мелодраматизма, то можно сказать, что меня никогда раньше не поражало подобное чувство. Вообще, меня редко что «поражает». Не такой я человек. Как в личной жизни, так и в профессиональной. Я человек разумный, по крайней мере так считаю я сама. До сих пор меня «поражало» — или потрясло — всего два раза в жизни; первый раз, когда умер папа. Второй — когда я родила Исабель. А теперь вот это, с Давидом. Хотя утром я пришла в смятение. И тогда взял верх мой четко работающий здравый смысл. И задал вопрос: сохранить ли мне это в тайне, похоронить в собственном сердце? Или рассказать Давиду? Может, начать вести тайный дневник, который сможет прочитать только Исабель после моей смерти? В принципе, вопрос был гипотетический. Я уже сделала выбор. Горели все сигнальные лампочки, но я сделала выбор. И вновь смятение. Это было своего рода недомоганием, у меня заболел живот. Я подумала, что накануне съела что-то не то. Но постепенно, поскольку боль не проходила, я сообразила, что меня просто мучает совесть. Вот, я опять плачу, ничего не могу поделать. Мне надо походить. Не сидеть же здесь и нюни распускать. (*Идет к окну.*) Красивое у тебя море, особенно сейчас, в сумерках. И сосны, форму которым придал ветер. И этот бесконечный берег. Здесь ведь не бывает ни души, да?

2

ИСАБЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ СКАЗКУ:

Исабель девять лет, маленького для своих лет роста, взлохмаченные, выгоревшие на солнце волосы. Крупный рот, синие глаза. Мы сидим на диване, она держит меня за руку. Рука у нее красивая, с длинными изящными пальцами, ладошка немного влажная. От девочки исходит вкусный и пряный детский запах. Прищурившись, как ее мать, она повторяет, что хочет рассказать сказку. Это — доказательство ее благоволения.

Исабель. Под моей кроватью живет нечто, может, тролль. Может, и не тролль, но во всяком случае не животное. Это крошечный, странный мальчик. Он такой уродина, что его даже жалко. Лицо совсем плоское, у него поросычьи глазки, узенькие и слипшиеся, ну знаешь, как у поросенка. Ножки кривые, колесом, и такие тоненькие, что он еле-еле ходит. Но у него есть красивая голубая шаль, в которую он может заворачиваться. Шаль размером с него самого. Он получил ее от мамы. Мама отрезала кусочек от своей собственной шали и подарила ему. Он был очень доволен и повсюду таскал эту шаль с собой. А за той вот батареей живет привидение с желтым лицом и злыми глазами. Привидение не больше тролля, но опаснее. Иногда оно стучит по батарее, жуть. Оно *не ходит*. Оно злобно *носится* вокруг. И однажды оно забрало шаль. И съело ее. Тролль плакал и скулил, как собака. А привидение все время смеялось, пока не обнаружилось, что стало голубым — как шаль. У него все стало голубым — лицо, руки, ноги, все тело. Голубой цвет пробивался сквозь его грязное одеяние. Привидение не может ведь быть голубым, так что с тех пор оно больше не могло быть привидением.

(На этом сказка Исабель заканчивается.)

Марианн. Я получила стипендию, денег не так уж много, зато очень лестно. Собиралась поехать в Париж, походить по театрам. Заранее было решено, что Исабель поживет на даче у моей мамы вместе со своим кузенком Фабианом. Маркус удостоился великой чести выступить в Бостоне, Детройте и Лос-Анджелесе. Поэтому мы с нетерпением ждали лета и

считали, что все устроилось наилучшим образом. То, что мы будем вместе всего лишь пару недель в августе, нисколько нас не заботило. Мы привыкли к гастролям и командировкам Маркуса и никогда не опасались связанных с этим рисков. Мы были женаты уже одиннадцать лет, и больших трений у нас не возникало. Я была верной женой. Что касается Маркуса, то, похоже, у него случались проблемы. Женщины обращали на него внимание — по меньшей мере, и Маркусу это нравилось больше, чем он хотел в том признаться, но нашему браку ничего не угрожало. Ты ведь не встречался с Маркусом?

Бергман. Нет, никогда.

Марианн. Ну, что мне сказать такого толкового про Маркуса?

Он — да ты знаешь, как он выглядит — в высшей степени приятный человек. Его старшая сестра Мириам — мы с ней учились в одном классе — решила, что ее младшему братишке пора остепениться. И она очень ловко и, должна признаться, коварно подстроила наше знакомство. Они происходили из богатой еврейской семьи и жили в то время в похожем на дворец особняке недалеко от Гётеборга. Отец Маркуса был профессором Лундского университета. Мать была настоящей матерью: пятеро детей, немеренное количество внуков и широкий круг знакомств; она умело, твердой рукой вела дом, семья чувствовала себя как за каменной стеной. Я крепко к ней привязалась, но вдруг она умерла от рака. Маркус обожал свою семью, особенно своего старого, очень старого отца, милейшего и немного не в себе человека. Меня сразу же приняли как свою, и я с удовольствием принимала участие в семейных делах и ритуалах. Все более или менее обладали музыкальными способностями, в доме постоянно звучала музыка и пение. Но Маркус единственный стал профессиональным музыкантом. Он сочинял музыку, дирижировал, играл джаз на кларнете и, разумеется, на рояле. Единственная загвоздка состояла в том, что надо было выбирать, и он выбрал карьеру дирижера. Ну, что еще сказать, описывать Маркуса нелегко. Он был милым ребенком. Милым, сговорчивым и чудовищно избалованным. Если я скажу, что он любил жизнь? Любовь к жизни. Это тебе что-нибудь говорит? Музыка... давала ему... радость. Или (*нерешительно*) что-то.

СЦЕНА:

Студия номер 2 в Доме радио. На подиуме Маркус за роялем и три молодых достойных музыканта: скрипка, альт и виолончель. Рядом с Маркусом сидит элегантная средних лет женщина с серьезным выражением лица, она переворачивает ноты. Идет репетиция записи фортепьянного квартета до минор Иоганна Брамса, опус 60. В затемненном зале Марианн и Исабель. В комнате техников горит верхний свет, там находятся мужчины, они без пиджаков; один пьет кофе с бутербродом, другой читает газету, третий на цыпочках поднимается на подиум и настраивает микрофон. Музыканты как раз начали третью часть, анданте: слияние альты и фортепьяно. Маркус прерывает игру и, помолчав, переворачивает страницу.

Маркус. Нам, пожалуй, надо бы поговорить об этом анданте, это особая история. Квартет носит номер опуса 60, но эта часть написана раньше, намного раньше. Она появилась в 1855 году, Брамсу было двадцать два года, он еще не отрастил бороду и был страстно влюблен в Клару Шуман. Но любовь эту никак не показывал. Законного мужа звали, стало быть, Робертом, он был близким другом. Иоганн, которого в доме принимали как родного, возможно, и *мечтал* проявить свою любовь более наглядно. Но дружба подавляла любое нежное слово или тайное объяснение. Зато ничего не могло помешать Иоганну излить свою страсть в анданте *espressivo*. Думаю, что Клара, прослушав его, все поняла. Анданте не исполнялось девятнадцать лет, а потом его включили в опус 60 вместе с еще тремя только что написанными частями. Ладно, друзья. Лекция вышла неплохая, но я почему-то всегда очень любил это анданте. Марта, попробуем еще раз.

Маркус (прерывает). Подожди, Марта. Ты играешь красиво, но подожди немножко. Ты не задумывалась, что виолончель поет? Пропой первые такты. Ну, пой же! Ты ведь замечательно поешь. *(Марта поет первые шестнадцать тактов; Маркус аккомпанирует осторожно, сдержанно, пианиссимо.)*

Марта (перестает петь, улыбается). Ага, так, конечно, по-другому получается.

Маркус. Мне представляется, что к этим звукам существуют слова: «Ich liebe dich, ich liebe dich, Clärhen!» или что-нибудь

еще более выразительное. Нельзя забывать о том, что Иоганн был влюблен в такой степени, что собирался покончить с собой. Да, еще одно: наверняка это ночь и тишина. Иоганн стоит за конторкой. Каждую фразу он сквозь тишину посылает своей возлюбленной. Сейчас мы играем, сейчас мы предаемся любви. Нет ничего болезненнее и прекраснее. Росо *espressivo*. А теперь, Марта, ты — Иоганн, а я — Клара. Она в данный момент выжидает. (*Они играют.*)

Марианн. Исабель сидит справа от меня и внимательно слушает. Потом встает, кладет руки на спинку стоящего впереди кресла и замирает, маленькая, хрупкая, целиком поглощенная музыкой. Я смотрю на нее сбоку и спрашиваю себя, что она сейчас чувствует. Моя загадочная девочка с ее снами и сказками. Она в высшей степени дочь Маркуса. У них отношения особые, туда никому нет доступа. Я в какой-то мере нахожусь вовне, нет, нет, я не ревную, но иногда удивляюсь. Да, удивляюсь. Постепенно я вновь начинаю слушать музыкантов и музыку. Маркус останавливается, тянет себя за нос, качает головой — настроение отличное.

Маркус. Ой, а здесь нам с Кларой придется трудно. Она же должна ответить на страстные признания Иоганна, здесь что-то происходит с голосом рояля. Рубинштейн делает это так просто и красиво. Не знаю, как ему это удастся. Я попробую еще раз. (*Играет.*) Только несколько тактов.

Марианн. Когда Маркус работал со своими музыкантами, вокруг царила атмосфера радости. Он умел заставить людей преодолевать границы их возможностей, это происходило совершенно естественно, без волшебства или дрессировки.

Бергман. Ты ничего не сказала о трудностях.

Марианн. Ты имеешь в виду трудности в семейной жизни? Не знаю. Мелочи. Маркус неугомнен. И душевно, и физически. Его энергия и жизнелюбие иногда... оглушали. Мне кажется, у Маркуса где-то есть потайная комната, и дверь в эту комнату он не открывает, — возможно, неосознанно. Иначе откуда у него эти озарения, когда дело касается трудной музыки? Например, Малер или Барток? И откуда у него понимание того, как нужно изобразить страх смерти и демоническое *furioso* в Девятой симфонии Шуберта? В первое время нашего брака различие наших темпераментов в какой-то степени угнетало. Когда ты влюблен, хочется де-

лать одинаковые вещи одинаково. Приходилось прибегать к самопожертвованию, возникало раздражение. Но постепенно мы научились. И стали добрыми друзьями — по-моему. Пожалуй, у нас был хороший брак — стабильный. Эта история с Давидом появилась из ниоткуда, причин никаких не было. Что за безумство на меня напало? Я же такая здравомыслящая, рассудительная, ничего не делаю поспешно, не подумав. Помню одного моего любовника, — он был вдвое старше меня, не меньше сорока, — это когда мы ставили «Электру». Он однажды сказал мне с грустью: «Единственный твой недостаток, красавица Марианн, — страсть к полезному». Он попал в точку. Хотя в тот момент я спросила себя, не следует ли мне обидеться. Но этот старый козел был, разумеется, прав. Это я так, как бы в скобках, но скобках важных, которые должны тебя убедить в том, что когда-то Марианн была в высшей степени цельным человеком, не способным выпасть из роли с бухты-барашты. Во всяком случае, сейчас у меня в голове — или где там еще — засела одна-единственная мысль: как залучить Давида в Париж. Как-то мы случайно встретились с ним в театральной столовой и сели с нашими подносами за один стол. Было около двух, народу мало. Я вскользь упомянула, что в середине июня собираюсь в Париж, оказалось, Давид уже слышал об этом от Эвы, с которой мы делили гримерку. Давид говорил односложно и отстраненно, как это с ним бывает. Внезапно он предложил съездить в Юргорден, сходить в Тильскую галерею. Я тут же согласилась, небольшая импровизация в первое весеннее тепло. Мы сели в старый, неопишимо обшарпанный «рено» Давида и поехали в галерею. Ты бывал там когда-нибудь?

Бергман. Конечно, я частенько туда хожу. Вообще-то, это мое любимое место; погасший, затонувший мир, тщательно спрятанный за толстыми белыми стенами.

Марианн. Через какое-то время мы попали в одну из башенных комнат. Сели на массивные резные стулья и погрузились в глубокую тишину. Галерея уже была закрыта, но вахтер (знавший Давида) разрешил нам остаться. Он все равно уходил только через пару часов. Сгустились сумерки, пошел дождь со снегом. Привычная болтовня иссякла. Нам нечего было сказать друг другу, а может, наоборот, не знаю. И

вдруг Давид начал объясняться. Обычно у него хорошо язык подвешен. Но сейчас он искал нужные слова и приходил, похоже, во все большее возбуждение. Сперва он попросил у меня прощения. Я сначала не поняла, о чем он говорит: «Прости меня, милая Марианн, за мое невероятно глупое предложение тем вечером». Он оправдывал себя только тем, что находился в жалком состоянии и его мучила «маленькая злая депрессия». Я невольно рассмеялась, но поостереглась назвать причину. «Как хорошо, что ты воспринимаешь это с юмором, — сказал он, пытаюсь улыбнуться. — Но я человек, который имеет обыкновение впутывать в неприятности и себя, и других, ничего не подозревающих людей. Порой я спрашиваю себя, все ли со мной в порядке, не схожу ли я с ума, не навестить ли мне психоаналитика». А потом он произнес то, что мне запомнилось особенно отчетливо.

Давид (крупный план). У меня полностью отсутствует естественная связь с действительностью. Я точно знаю, как она функционирует. Я научился читать людей. Но любая искренняя попытка контакта оканчивается неудачей. *Это понимание.* И мне по всем меркам следовало бы сделать выводы из моего понимания.

Марианн. Я очень удивилась, я хочу сказать, удивилась его внезапному признанию. Давид не из тех, кто без надобности говорит «по душам», это было весьма странно. А потом он заговорил о своей роли:

Давид (крупный план). Да, черт побери. Я играю роль. И да позволено мне будет это сказать, играю почти идеально. Прежде всего, профессиональную роль. Только самое ужасное, что всегда возникает пустая секунда, если ты понимаешь, что я имею в виду. И эта секунда решает все.

Марианн. После этого он замолчал, просто сидел и смотрел на дождь со снегом за окном. Я тоже не могла придумать ничего путного, была сбита с толку. Поездка в Париж, все мои планы были разом перечеркнуты. Стемнело, опустилась серая пелена. Мы стали серыми. Как тени. Вахтер крикнул нам снизу, что пора уходить. Он запирает на ночь. Я, как положено, ответила, что мы как раз и собирались это сделать. Потом наклонилась и поцеловала Давида в губы, они были холодные. И он сказал:

Давид (крупный план). Марианн, одно я знаю твердо — это серьезно, чертовски серьезно.

Марианн. Мы встали одновременно и подошли к полуоткрытой двери, но у нас не хватило сил переступить через порог. Что-то нужно было сказать. Сейчас мне будет тяжело, потому что придется говорить о вещах, о которых я не люблю говорить. Дело обстоит так: я уже упоминала, что наша с Маркусом совместная жизнь была вполне благополучной. Я не особо требовательна (*улыбается*), я имею в виду в постели. В большинстве случаев — ладно, чаще всего — я получала удовольствие от своих немногочисленных любовных связей. Да, да. Ну, было несколько суматошных лет, о которых я довольно умело постаралась забыть, поскольку я, как мне кажется, вела себя глупо. А если и существует что-нибудь, что я больше всего ненавижу, так это чувствовать себя душой — в своих глазах, разумеется. Да, нам с Маркусом было хорошо вместе. Он говорил, что ему гораздо больше нравится спать со мной, чем дирижировать «Весной священной» Стравинского. Так что ты понимаешь. Иногда... (*Марианн замолкает.*)

Бергман. Иногда? Что иногда?

Марианн. Мне вообще-то очень не хочется говорить об этом. Но я полагаю, это имеет непосредственное отношение к этой истории. Да. Иногда, когда я бывала с Маркусом, случалось нечто странное. Я теряла разум и сознание. Это вроде называется «маленькой смертью», да?

Бергман. Что-то в этом роде.

Марианн. Не знаю — насчет Маркуса. Порой мне кажется, что внутри этой вот Марианн — актрисы, которую я вижу в зеркале, — внутри Марианн кроется кто-то другой, без имени и плоти. У кого лицо и — нет, хватит. Интересно, что скажет актриса, которая будет меня играть, обо всей этой чепухе.

ПРЕРВАННАЯ СЦЕНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ (они стоят у двери башенной комнаты):

Давид. Я хочу, чтобы ты узнала еще об одной неприятности — я приношу неудачу. И не какую-то там одномоментную неудачу, а полный крах. Иногда я задаюсь вопросом, почему я живу, но самоубийца из меня никакой.

Марианн. Мне тоже порой бывает страшно, но не так, как тебе.
Давид (глубоко тронут). Ты хочешь сделать мне подарок, а я... ты хочешь...

Марианн (осторожно касается его лица). В другой раз, Давид. Анализ подождет. Не сейчас. Пожалуйста.

Давид. Я должен был предупредить тебя.

Марианн. Мне все равно, какой ты. *(Умоляюще.)* Давид!

Давид. Если б я не был таким нелепым. Если б вечно все не запутывал. Иногда переходя грань комизма, хотя никто не смеется, я в последнюю очередь. И еще я жутко подозрителен. Никому не верю. Наверное, потому, что не верю в себя. Нет, в профессиональном плане я вполне успешен, людям нравится со мной работать, хотя порой бывает чертовски противно, не знаю почему.

Марианн (начинает смеяться, старается сохранить серьезность, но не может).

Давид (криво усмехается). Если желаешь, я могу продолжить список. Хуже меня никого нет.

Марианн. И к чему этот каталог всяческих напастей? Ты забыл, что мы с тобой дружим с незапамятных времен.

Давид. В твоём присутствии я немею.

Марианн. Дорогой Давид. Не взглянуть ли нам для начала на все это попроще? Ведь это же здорово.

Давид. Конечно, здорово. Разве я говорил что-то другое?

Марианн. Очевидно, мне послышалось. Все очень просто: я получила стипендию и еду в Париж походить по театрам. Все складывается очень удачно, потому что Маркус в это время будет в Детройте и Лос-Анджелесе. А Исабель у бабушки на даче. А ты, мой милый Давид, поедешь — по совпадению, по случаю — в Париж, чтобы встретиться со сценнографом или еще по какому-нибудь важному делу. Пока все превосходно. Безупречно! Маркус, кстати, вполне поймет, если мы окажемся в Париже одновременно. И, скорее всего, будем встречаться. Никаких тайн, лжи и уверток. Гарантирую, он ничего не заподозрит и ревновать не станет. Да, Давид, вот как все может быть просто — захватывающе интересно — и здорово. Так уж сложилось, что жизнь состоит не только из катастроф и всякой чертовщины, но из любви, нежности и других приятных вещей. Давид, ну, пожалуйста, улыбнись.

Давид (внезапный смех, объятия). Ну, ясное дело, ты права. Мы замечательно проведем время. И вернемся довольные и покладистые...

Марианн. С некоторыми угрызениями совести, которые сделают нас еще покладистее. И которые оставят терпкий вкус после нашего разгула.

Давид. А что потом?

Марианн. Либо наша тайная любовь продолжится, либо чувства остынут. Но ты, как всегда, будешь моим самым лучшим, самым дорогим и самым добрым другом.

У Марианн и Давида есть одно совместное воспоминание. Воспоминание, больше похожее на сон.

Они крепко обнимаются, шумно скатываются с лестницы и просят прощения у вахтера. И выходят из белого мавзолея. Идет сильный снег.

3

КОММЕНТАРИЙ:

Сейчас я один. Марианн не сидит в кресле у окна. Она исчезла в мгновение ока. Я думаю о Маркусе и Давиде, сначала о Маркусе. Вижу, как он работает со своими музыкантами, и завидую: желание, концентрация, дыхание. Маркус со своим оркестром — это феномен света, безусловно, высшая форма людского сотрудничества. А потом я думаю о Давиде (и о себе тоже). И об актерах. Мы тоже занимаемся игрой, которая требует слуха, близости, внимания, творчества и, как сказал бы Давид, педантичности. Но ноты представляют собой идеальную основу для интерпретации, в то время как слова многозначны, коварны и стараются ускользнуть от тебя. Маркус и его музыканты обладают прочным знанием. Они не мечтают о том, чтобы изменить ноту, такт или тональность. Их строгая свобода включена в смиренное приятие нотного послания. А слова можно заменять, ремарки вычеркивать. Наша интерпретация базируется не на знании, а на произволе и мнимой свободе, которые позволительно растягивать до немой пустоты беспредельности. Музыканты — того уровня, на котором находятся Маркус и его коллеги — не испытывают технических трудностей. Они же, черт побери, реализуют свою профессию. Есть ли профессия в театре? Мы утверждаем, что есть. А на самом деле? Честное слово, я не знаю. Опыт. Да. Понимание. Да. Но профессия?

(Этого комментария нет в конечном варианте. Это личное.)

Бергман. Марианн снова сидит в кресле у окна. Без нее было так тоскливо, что я потребовал почти сразу, чтобы она вернулась. (Я просто испугался. А вдруг я ее потерял.) Она пришла практически немедленно, но изменила прическу и переделалась. Рыжеватые волосы заплетены в толстую косу, «летнюю косу», одета в удобный свободный свитер теплого землистого цвета, на ногах сабо, которые сейчас аккуратно стоят возле кресла. Ноги в белых носках покоятся на скамеечке. Я удивился, что у нее теперь длинные волосы — только что она была с короткой стрижкой. Марианн, улыбнувшись, ответила, что «такое бывает, ты ведь знаешь?». Я предложил продолжить с того места, где мы прервались. Она согласно кивнула.

Марианн. Маркус вернулся домой, чтобы поработать с оркестром Радио в зале Бервальдхаллен. Последний концерт был дан в субботу в три часа. Мы, естественно, были там: Давид, Исабель и я. Программа — впечатляющая, «Песни об умерших детях» Малера и Девятая Шуберта. Конечно, овации. После концерта мы обедали у нас дома. Настроение светлое и радостное. Исабель исполнила сочиненный ей танец на музыку Луи Армстронга с пластинки в 78 оборотов. Маркус был в ударе и сыграл по памяти «Карнавал» Шумана почти целиком. Мы пили вино, ели шоколадные конфеты из кондитерской «Шпрюнгли», что на Банхоффштрассе в Цюрихе. И много говорили об интерпретациях, хотя в основном в шутку. И пришли к выводу, что, как всегда, больше всех жалко Давида, который хочет революционизировать «категорический императив зрения и слуха». Но меня тоже жалко, потому как я актриса и желаю лишь наряжаться и кривляться перед публикой. Так мы развлекались. Исабель заснула, и ее, несмотря на слабые протесты, отвели спать. Давид задержался в детской, чтобы убаюкать ее своими рассказами. Я принесла еще вина, Маркус закурил сигару, хотя вообще-то курить бросил. Но этим вечером был праздник. И тут мы заговорили о моей поездке в Париж.

КОММЕНТАРИЙ:

Перед моими глазами эта картина. Светлая гостиная с двумя роялями «стенвей», стоящими у окна, которое выходит в парк, перешедшие по наследству вещи, картины и мебель, купленная по обоюдному согласию. Высокие строгие напольные часы рядом с раздвигающимися дверями, огромный болотного цвета ковер на полу. Уютные лампы. Свечи. Гармония, порядок и буржуазное достоинство. Давид сидит в углу на диване. Марианн и Маркус на диване поменьше напротив. Он обнимает ее за плечи.

Марианн. Мы говорили о моей поездке. Я рассказывала о французском театре и французских актерах. Давид упомянул словно бы вскользь, что будет в Париже какое-то время, пока я там. Я изобразила радостное удивление и сказала, что мы обязательно должны встретиться. По мнению Маркуса, это было великолепно, и он спросил, какие дела у Давида там. Давид многословно изложил свои планы и скрупулезно

перечислил всех, с кем он собирался переговорить. Я прервала его, спросив, поедет ли с ним его жена. Реплика была не к месту, поскольку мы с Маркусом прекрасно знали их семейные проблемы. Но я должна была остановить Давида, который сразу же опомнился и сказал, что там его уже ждет дама. Возможно, мне пришло это в голову задним числом, но на мгновение наш уютный покой словно обдало порывом ледяного ветра. Не знаю. Позднее, когда мы с Маркусом собрались ложиться спать, я спросила его, не думает ли он, что нам с Давидом не следует ехать в Париж в одно и то же время. Он разыграл маленький спектакль (он обожает это) и манерно удивился, мол, неужели ты воображаешь, что я ревную, неужели и правда воображаешь, что я мог подумать о чем-то неподобающем? Нет, немного смущенно ответила я, просто я решила... что мне надо спросить. Ты хочешь сказать, что Марианн и Давид — моя Марианн и мой Давид — нет, милая, дорогая моя, мне кажется, я хорошо разбираюсь в людях — и даже представить себе не могу... И тут он рассмеялся. А это настолько невероятно? Я не могла удержаться от вопроса, меня немного разобрало. Ты и Давид? Я тебе скажу, почему это невозможно. Это было бы предательством. А поскольку я считаю, что знаю тебя, а Давида, наверное, еще лучше, то я твердо уверен — предательство в ваши роли не входит. Хорошо сказано, а? И мы оба рассмеялись. Поцеловались, и, забравшись в постель, осыпали друг друга ласками. Но я была не в силах забыть тот порыв ледяного ветра и все спрашивала себя, не ошиблась ли я, не было ли это укором совести или каким-то другим привидением.

ИСАБЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ СВОЙ СОН:

Как-то я пришла из школы, и оказалось, что я совсем одна в доме. Светило солнце, и было тихо-тихо. Я ходила по комнатам и звала маму. Но ее нигде не было. Тогда я закрылась у себя в комнате и начала читать комикс. И тут я почувствовала, что кроме меня в комнате есть еще кто-то. Я обернулась и увидела женщину-ангела, она сидела на моей кровати и смотрела на меня. Она была рыжая, крылья красные, длинное платье тоже красное, и туфли красные на высоких каблуках. Она была страшно худая, с голыми руками, а на лице сыпь. Она смотрела на меня своими странными глазами, узкими, как будто жмурилась. А потом она

засмеялась, потому что я испугалась. Она смеялась, показывая зубы; желтые, они торчали во все стороны и были жутко гнилые. Я спросила, чего ей надо, но она только покачала головой, встала, вытянула руки (*Исабель показывает*) и открыла окно. Взобралась на батарею и выпрыгнула, махая крыльями. Сперва она ринулась вниз. Я встала, чтобы посмотреть, не упала ли она на землю. Мне даже почти хотелось, чтобы она разбилась до смерти, до того она была гадкая. Но она крутила руками, вздувала себя, перебирала ногами, махала крыльями, а потом обернулась, чтобы посмотреть на меня, вскрикнула, взмыла в воздух и исчезла за деревьями.

Марианн. Я уехала в Париж 2 июня. Дома было тепло, в Париже холодно и дождливо, но зато настоящее лето. Я забронировала номер в Отеле Санкт-Анн, старомодном семейном отеле в английском стиле. Улица называлась Рю Санкт-Анн, узенькая улочка, идущая параллельно Авеню де л'Опера. Мне дали роскошный двухкомнатный номер на самом верху, на недавно отремонтированном этаже под самой крышей. Была даже небольшая терраса, с которой открывался вид на город вплоть до Эйфелевой башни. Движение на улице было не слишком оживленное. Напротив отеля располагался приличный ресторан, в который частенько заходили старые прелаты — надежная гарантия хорошей еды. Давид забронировал отдельный номер, на два дня позже. Номер был намного скромнее, на втором этаже возле лифта, жутко шумевшего круглые сутки. Но какое это имело значение, ведь ночи он будет проводить под моим роскошным балдахином.

Два одиноких дня я бесцельно бродила по городу, опьяненная свободой и чуть ли — как бы это выразиться — не накачанная — нереальностью. Ощущение катастрофы и муки совести я оставила дома, в аэропорту. Мне, наверное, следует тебе сказать, что это было в первый раз.

Бергман. Что в первый раз?

Марианн. В первый раз я намеренно изменила. Спланированная и срежиссированная супружеская измена. Может, несколько раз у меня и бывали интрижки (но редко). В любом случае гораздо реже, чем у Маркуса. Но теперь все было всерьез. Давид прилетал во второй половине дня, его самолет опаздывал на несколько часов, но я не волновалась. Я

вообще мало когда волнуюсь, очевидно, это связано с отсутствием у меня фантазии. Давид говорит, что у меня нет готовности к катастрофам, и это правда. Если бы я относилась к более беспокойным натурам, того, что случилось, не произошло бы. Нет. (*Марианн задумчиво молчит.*) Я прогулялась к Комеди Франсез и выкупила наши билеты на вечерний спектакль по Мольеру в постановке Джорджо Стрелера. Потом, пообедав в отеле, прилегла с французской книжкой. В юности у меня был довольный приличный французский, но с годами он немного заржавел. Так что я решила, что надо попрактиковаться. Вскоре я заснула и проснулась от стука в дверь. Внезапно все оказалось реальностью, и меня обуял такой ужас, что чуть сердце не остановилось. Помню, мелькнула мысль: Марианн, что ты, черт подери, вытворяешь? Очень вовремя. И когда в комнату вошел Давид, я подумала, что это незнакомый человек. Какое мне до него дело! Но я тут же себя перебила: это же Давид, мой самый лучший, самый близкий друг. Тревога улетучилась, и нас обоих переполнило желание. Мы проснулись, когда горничная из-за двери спросила, в котором часу она может постелить на ночь. Мы встали, оделись и пошли в ресторан, где заказали замечательный ужин. И на спектакль Стрелера так и не попали. Ночью позвонил Маркус из Филадельфии, он рассказал, что у него была потрясающая репетиция скрипичного концерта Брамса с Исааком Стерном и что следующей осенью они его запишут. Я упомянула вскользь, что недавно приехал Давид и мы ходили с ним в театр. Маркус спросил, живет ли Давид в том же отеле. Я ответила утвердительно и воспользовалась случаем, чтобы описать ему свой прекрасный номер. Не забудь передать ему привет, обними его от меня. Так продолжалось еще какое-то время. Я зевнула и сказала, что сейчас почти три часа утра. Маркус посерьезнел и ответил, что он знает. Но он тоскует по мне, ему хотелось услышать мой голос. Тут я на мгновение опять ощутила порыв ледяного ветра, а потом сказала, что это ужасно мило с его стороны и что я тоже скучаю. Разговор закончился (жирной лживой точкой). Я повесила трубку, повернулась к Давиду и передала ему горячий привет от Маркуса. Но ответа не услышала. Мой любовник спал.

ПИСЬМО:

На следующий день Марианн не пришла, не пришла и еще через день. Я позвонил по номеру, который она мне оставила, но никто не ответил. Я начал беспокоиться — я обидел ее, надоел ей, неужели мы уже слишком далеко зашли с нашей игрой? Кроме того, мне не хватало наших вечерних посиделок. Меня одолела тоска, и я попытался развеять одиночество умной книжкой. Утром третьего дня я нашел на кухонном столе письмо. Прочитую несколько строк:

Письмо Марианн. Я не приду сегодня. И завтра тоже. Не знаю, когда приду. Я немножко простужена, а ты, как известно, ненавидишь сопливых. Но истинная причина моего отсутствия не насморк. Мне становится все труднее разгрести этот завал. Ты сидишь себе за столом, внимательно смотришь на меня (пусть ничего не требуя, по крайней мере ты считаешь, что ничего не требуешь). И ждешь, что всю работу сделает Марианн. Точно как дрянные драматурги всех времен отделялись увертками — мол, стоит только талантливому актеру взяться за эту неточность, бесформенность, серость, и дерьмо превратится в конфетку. Честно говоря, я измучена. Ладно, «измучена» — это чересчур. Но чертовски трудно говорить про «любовь». Я имею в виду те джунгли импульсов и обмороков, которые растут непрерывно, как раковая опухоль, и под конец становятся непроходимыми. Если отношения Марианн и Давида относятся к категории «любви», то я точно знаю, что она не поддается описанию (неописуема). Я по роду своей профессии имела дело со многими вариантами любви. И несколько раз в жизни настоящей говорила себе — «*вот она!*». Теперь, Марианн, теперь ты *любишь!* И в то же время была вынуждена слушать внутренние протесты — тихие, отчетливые. Упрямый тонкий голосок говорит правду. *Мою* правду, другой я не знаю. Находясь рядом с Давидом, я не слышу этого голоса. Мой бедный рассудок тонет в каше чувств. Во времена нашей с Давидом дружбы, в хорошие времена, я в его жизни представляла нормальность. Это было практично и приятно. Ко мне иногда подходили и спрашивали: «Ты не можешь вразумить Давида?» И я шла и вразумляла. Действовало замечательно. Не стану отрицать, что я немного

гордилась своей способностью «управлять неуправляемым», как выразился где-то Ибсен. Но теперь ситуация полностью изменилась. Я потеряла способность привести в чувство того, кто охвачен бешенством, поскольку в моей душе не утихает буря. И я сломя голову бросаюсь в ситуации, которыми никак не владею. Меня только немножко удивляет, что это мне не кажется важным. Хотя есть одно исключение, но исключение мучительное. *Я вижу Исабель!* Вижу ее маленькую фигурку, ее лицо. И тогда мне становится страшно, по-настоящему страшно. Я прихожу в себя (это ведь так называется?), и в голове у меня крутятся ужасные слова, как будто написанные на стене: *Что я делаю с Исабель?*

КОММЕНТАРИЙ:

Марианн опять в кресле. Не могу отрицать, что у меня камень с души свалился. Мы обменялись любезностями, но от объяснений воздержались. Я, разумеется, поблагодарил за письмо, только и всего.

Бергман. Значит, Париж? Марианн?

Марианн. О Париже рассказывать особенно нечего.

Бергман. Запоздалая ревность?

Марианн. А, это. (*Замолкает, потом начинает говорить.*)

Как-то днем мы сидим на скамейке наверху, возле Сакре-Кёр. Город простирается у нас под ногами. Он расплывается в душной солнечной дымке. Давид кладет руку мне на бедро, мое тело тяжелеет, одолевает дремота. Наверное, пора устроить сиесту. И тут неожиданно он спрашивает меня о моих прошлых любовниках. Спрашивает с улыбкой, почти равнодушно, словно бы начинает любовную игру. Не понимая ничего, не чуя опасности, я начинаю болтать о своем непритязательном прошлом. Давид задает забавные, даже как бы детальные вопросы. Мы оба смеемся, и я становлюсь смелее. Вечером — мы выпили больше обычного — разверзается преисподняя. Можно я не буду об этом? Я не хочу.

Бергман. Конечно, не надо.

Марианн. Впервые за всю нашу долгую совместную жизнь, я имею в виду нашу многолетнюю дружбу, он вызывает у меня

страх. Его ревность безумна. Мне так страшно, что меня рвет. Страх поразил внутренности, рвота не унимается. Мне кажется, что он меня ударит, однако он не прикасается ко мне. Одновременно я прихожу в ярость, но теряю дар речи. Не в силах даже заплакать. Внезапно на него нападает раскаяние, он пугается. (*Пауза.*) Иногда я спрашиваю себя, не изменил ли этот вечер наши отношения. Но нет. Мы все глубже погружаемся друг в друга.

Бергман. Ты бы предпочла не говорить о том вечере?

Марианн. Да, предпочла бы.

Бергман. Тогда поговорим о чем-нибудь другом. О Мартине Гольдберге?

Марианн. А, о нем. Да, это была странная история.

Бергман. Расскажи.

Марианн. Как-то утром мы с Давидом решили отстоять очередь и купить билеты в Оперу, послушать «Фауста» Берлиоза. Так что мы с ним были в холле отеля уже в девять утра. Портье, наклонившись ко мне, тихо сообщил, что вон там сидит господин, который желает со мной поговорить. Я сразу узнала его. Это был сын нашего семейного адвоката, я знала его с давних пор. Мы были ровесниками и входили в одну и ту же университетскую компанию. Звали его Мартин Гольдберг. Его *зовут* Мартин Гольдберг, и он тоже адвокат. Я сказала Давиду, что нам надо подойти и поздороваться, это совершенно необходимо. Увидев нас, Мартин встал и с широкой улыбкой пошел нам навстречу, на ходу складывая газету. Он поцеловал меня в щеку — от него пахло лилиями — и объяснил, что находится в городе по патентному делу. Во вторник вечером ему позвонил отец, который попросил разыскать меня, чтобы разъяснить некое семейное обстоятельство. Поэтому Мартин был бы признателен, если бы он мог ненадолго остаться со мной наедине. Давид решил, что он вполне может постоять в очереди за билетами один, и вернется, скорее всего, через пару часов. Не пообедать ли нам вместе? Мартин с сожалением отказался — у него впереди трудный день. Они любезно распрощались. Мы с Гольдбергом отправились в бар отеля, где не было ни души, он только что открылся. Мы сделали заказ, и я без обиняков поинтересовалась у Мартина, какое дело привело его сюда. Он, приветливо улыбнувшись, начал издали:

поздравил меня со стипендией и вспомнил, что встречался с Давидом на обеде в доме родителей Маркуса. Одновременно посетовал, что у него не было времени ходить на концерты в разгар сезона. Я спросила его еще раз, довольно решительно, какое у него ко мне дело. Он ответил, что говорил с матерью Маркуса. А какое отношение это имеет ко мне, удивилась я, чувствуя, как по ногам поползли мурашки. Ну, мама беспокоится о Маркусе, он звонил ей из Филадельфии или Лос-Анджелеса, Мартин забыл. Так в чем же, собственно, дело, спросила я нетерпеливо. И тогда он, больше не увиливая, рассказал, что Маркус заболел и его мать считает, что Марианн немедленно должна лететь к нему. Теперь я ничего не понимаю, сказала я. Я говорила с Маркусом вчера, и он чувствовал себя превосходно. Мы говорим с ним практически ежедневно, и он ни разу не упоминал о каком-либо недомогании. Мартин замолчал, глядя на меня, словно на неразумного ребенка. Потом вдруг весьма формально заявил, что он лишь передал то, что ему было поручено, а сейчас ему, к сожалению, пора идти, он был рад повидаться и надеется, что все это недоразумение. И быстро удалился, а я осталась сидеть, чувствуя, как ползают по ногам мурашки. В тот же день, часов в пять, я позвонила Маркусу. Он поднял трубку сразу же, сказав, что как раз собирался звонить мне. Я рассказала ему о странной беседе с Мартином Гольдбергом и поинтересовалась, знает ли он, в чем дело. Я полностью держала себя в руках, голос не дрожал. Я, стало быть, спросила, что такого он сообщил своей матери, а мне нет. Маркус рассмеялся: ты же знаешь маму, она из всего делает трагедию. Я спросила, болел ли он. Ну да, его беспокоили мигрени, связанные с глазами. В Лос-Анджелесе жуткий климат, но ему выписали отличное лекарство. Он не хотел меня волновать в эти дни, когда я обрела чуточку свободы. Он так и сказал: «в эти дни, когда ты обрела чуточку свободы». Я задала ему еще один вопрос, хотя прекрасно знала, что именно сейчас его задавать не следует: не будет ли он против, если я продлю свое пребывание в Париже всего на неделю. Он одобрил мой план, и я не услышала ни малейшего колебания в его голосе: значит, увидимся на даче в начале августа. И обними Давида, если увидишь. Позднее, за обедом, Давид,

конечно же, расспросил меня о моих разговорах. Он был обеспокоен больше меня. По его мнению, все это выглядело подозрительно. Я постаралась убедить Давида в том, что все дело не стоит и выеденного яйца, и мне это почти удалось. (*Замолкает, сидит молча, чуть отвернувшись.*)

Бергман. А учительница? Фру Ясандер?

Марианн. Учительница — верно. Она, пожалуй, имеет к этому отношение. Однажды мы отправились в Буа-де-Винсенн, где Марна впадает в Сену. Давиду хотелось посмотреть, существует ли этот отель в реальности. Ты знаешь, отель «Дю Норд». С Жаном Габеном. И отель сохранился. Расположившись в скверике по другую сторону канала, мы смотрели, как громадная баржа проходит шлюз. Было воскресенье, и на узких, кривых улочках вокруг отеля стояла тишина. Зазвонили колокола на церкви Санкт-Мориц. Да. Вот так. Мы сидели и болтали. И тут к нам подошла пожилая женщина, лет шестидесяти, и извинилась по-шведски. Она представилась — фру Ясандер, и сказала, что последние месяцы семестра замещала классного руководителя в классе, где училась Исабель.

Фру Ясандер (крупным планом). Исабель — очень необычный ребенок. Я прониклась чувством большой ответственности за девочку и несколько раз собиралась позвонить ее матери. Я хотела сообщить, что Исабель в последние месяцы испытывала *трудности*. Я говорила со своей коллегой — но она ничего не заметила. По ее мнению, Исабель «приспособилась». У меня почти сразу наладились хорошие отношения с девочкой, и я пыталась, осторожно, как могла, заставить ее говорить о себе. Я практически уверена, что она носит в душе большую печаль. Простите, что я позволяю себе такие вольности, но, по-моему, весьма примечательно, что я встретила мать Исабель так далеко от дома.

Марианн. Мы с Давидом буквально окаменели от путаной речи фру Ясандер. И когда она спросила, сколько мы еще пробуем в Париже, Давид довольно грубо ответил, что будь его воля, мы бы просидели на этой скамейке до конца жизни. И что наверняка подальше есть скамейка, которой могла бы воспользоваться фру Ясандер. Пожилая женщина безмолвно посмотрела на Давида и покачала головой. Ее большие

голубые глаза наполнились слезами. Она шепотом извинилась и ушла, словно бы потеряв дар речи. Я попыталась сказать ей вслед «до свидания», но она проигнорировала меня. У нее были тонкие ноги с большими ступнями, при ходьбе она чуть покачивалась. Я упрекнула Давида в ненужной грубости. Он ответил, что вся эта сцена вызвала у него гадливость и он испытал непреодолимое желание сбросить эту мегеру в канал.

4

Бергман. Марианн (или как ее там зовут) снова бесследно исчезла на несколько дней. Я сидел за письменным столом, вперившись в пустое кресло. Продолжать самостоятельно не было никакой возможности. Печаль и уныние. Старческие болячки и ипохондрия. Черт, куда же она подевалась? Она как-то обронила, что наш эксперимент кажется ей интересным. А может, я все это только вообразил. Я выхожу погулять по берегу. Чайки гневаются, что я нарушил их покой, они описывают круги над моей головой, делая вид, будто хотят напасть. Они галдят и орут, кто-то из них бомбардирует меня дерьмом, чуть-чуть не попадая в цель. Я возвращаюсь к столу. Абсолютная пустота и тишина. Море свинцово-серое, полный штиль. Влажность воздуха нарастает.

Прошел час, я уже испытываю не гнев, а только грусть и одиночество: а вот и эпилог: *Я буду читать Платона!* Никогда не делал этого. А теперь самое время. Значит, Платон. И в этот момент она садится в мое кресло. Она действительно привлекательна, эта женщина, и сейчас она дружелюбно улыбается. Я безнадежно соблазнен. Волосы взлохмачены. На ней тонкая блузка из прозрачной материи, кирпичного цвета кофта ручной вязки, белые застиранные джинсы. Она босая.

Марианн. С какого места продолжим?

Бергман. Тебе решать.

Марианн (смеется). Мне?

Бергман. Тебе решать. Самостоятельно мне не справиться.

Марианн. Стало быть, пора рассказать о возвращении домой?

Бергман. Возвращение домой. Отлично.

Марианн. Мы договорились, что полечу утренним рейсом, а Давид — вечерним. Мы вдруг поняли, что стоим, уткнувшись лбами в стену. Будущее вырисовывалось невыносимо тяжким. Но если вечером выпить пару бокалов вина, то боль блокируется. Наступает временная беспечность: что было, то было, и это «было» имеет конец, мы об этом никогда не забывали. И воистину будем благодарны за то, что нам посчастливилось пережить. Это же, черт возьми, не развод. Продолжение будет состоять в том, что просто при-

дется жить по-другому. И эта другая жизнь требует организованности и предвидения. Кстати, мы настолько разумны, что нам нравится, как мы живем (говори за себя, бурчит Давид). Он глубоко дышит. Ты вроде бы вздыхаешь, говорю я легкомысленно под воздействием прекрасного вина. Я, наверное, тебя люблю, очень серьезно произносит Давид. Я внезапно не знаю, что ответить, поскольку ни при каких обстоятельствах не хочу разрушать свой брак. Совершенно не хочу делить будни с Давидом. Хочу свободы. А Давид не желает даже слышать ни о какой свободе — ни о моей, ни о своей. Моментально протрезвев, я порчу наш прощальный ужин. Черт, ты невыносима, когда начинаешь эти свои штучки, раздраженно говорит Давид и швыряет на пол стопку газет.

Душное утро в день отъезда. Жара стоит стеной. Через пару минут я должна выходить из отеля. Давид сидит на венском стуле, он измучен всей ситуацией и жарой. У меня перехватывает дыхание от жалости и грусти, я вот-вот заплачу, но мне же совсем скоро выходить, жалко портить макияж, и я сдерживаюсь. Я прекрасно знаю, как ты собираешься устроить наше будущее, начинает Давид, но замолкает — у нас ведь осталось всего пара минут. Не смущайся, отвечаю я, садясь на край кровати и ощущая свинцовую тяжесть на плечах. Да, вот чего ты хочешь, просто не осмеливаешься сказать, слишком труслива, но вот чего ты хочешь. И он высказывает то, о чем я думала, но не говорила. И он злобно выпаливает: все будет как обычно, по крайней мере внешне. Твой брак останется в целостности и сохранности. Со мной ты будешь встречаться, когда найдется время. У тебя. Ты хочешь всего и меня в придачу. А что, это так глупо? — устало спрашиваю я. Я понимаю, что моя реплика не к месту. И что я проявляю рассудочную трусость. Разве мы не можем дать себе немного времени? Немного подождать и посмотреть, как все пойдет? Давид, пожалуйста, дай нам немного времени. Какой же поганый спектакль мы разыгрываем, вдруг произносит он с милой улыбкой. Звонит портье, сообщает, что такси ждет, и мы договариваемся созвониться вечером, какой бы ни был поздний час. Мы обнимаемся и целуемся, но боль настолько сильна, что мы ничего не чувствуем.

ИСАБЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ ЧТО-ТО, ЧТО ОНА СЧИТАЕТ СНОМ:

Исабель. Нас было много детей, мы играли в большом доме. Мы все, девочки и мальчики, были одного возраста. В комнате не было мебели, а стены красные. Большие окна, на улице лето, но холодно, как зимой. Мы были одеты по-зимнему. Открылась дверь. Этой двери я раньше не видела. Вошла школьная медсестра, забрала с собой двух детей и закрыла дверь. В комнате было полно игрушек, как в детском саду, мы почти все играли. Я и еще одна девочка возились с кукольным домиком. Некоторые дети просто сидели с грустным видом. Из динамика, прибитого к стене между окнами, все время гремела музыка. И вот открылась дверь, и двух детей забрали. Одним из них была та девочка, с которой я играла. Она упиралась, не хотела идти в другую комнату. Дверь не заперли, и она чуточку открылась сама по себе. Так что я могла заглянуть внутрь, хотя сидела на полу в красной комнате. И я увидела огромную женщину, которая стояла спиной к полуоткрытой двери. На ней мамина шуба, она была ей мала, а на голове корона из золотой бумаги. В комнате шел снег. На полу валялась детская одежда, вся покрытая снегом. Тут медсестра увидела, что дверь приоткрыта и сразу же ее захлопнула. Я испугалась и начала искать другой выход, потому что собралась удрать. Я поняла, что эта огромная дама в шубе ела детей, одного за другим, после того, как медсестра их раздевала. Когда я увидела, что другого выхода нет, я страшно перепугалась.

Марианн. За несколько минут до посадки в Копенгагене нам объявили, что из-за тумана аэропорт в Стокгольме не принимает. Нам придется провести в Каструпе неопределенное время. Я уселась с книжкой в кресло, и так прошел день. К вечеру стало известно, что Стокгольм все еще не принимает. Тем, кто желает отправиться ночным поездом, обещали перебронировать билеты. Кроме того, поблизости есть гостиница. Поскольку очередь на поезд была весьма длинной, я предпочла гостиницу и через пару часов оказалась в уютной камере с душевой кабинкой и телевизором. Окно выходило на гигантский бетонный фасад с бесконечными рядами освещенных окон. Далеко внизу стоял грохот от движения кон-

тейнеров и тяжелых грузовиков. Я разыскала ресторан и прекрасно поужинала. Потом вернулась в свою камеру, надела пижаму и принялась смотреть американский детектив. Время от времени я засыпала (когда мне грустно, я сплю, а мне было ужасно грустно). И вот я очнулась ото сна, в котором мы ловили селедку в Лофутене, но так как мне все равно было жутко грустно, я приняла таблетку могодона, чего обычно не делаю. Я стояла посередине комнаты между кроватью и ночным столиком со стаканом в руке и пыталась проглотить таблетку. И когда мне это наконец удалось, в дверь постучали, и я ответила «войдите». Кто-то дернул за ручку, но она была заперта, поэтому я отперла ее. На пороге стоял Давид. И тут я заплакала. Сама не знаю почему, но я в принципе не люблю импровизаций. Закрыв дверь, мы бросились друг другу в объятия, стояли и обнимались, словно утопающие. Я все плакала и ругала почем зря снотворное, которое проглотила с таким трудом. Ну ладно. Давид прилетел в Каструп в девять вечера, и других возможностей, кроме гостиницы, у него не оставалось. Он спросил у портье, остановилась ли в гостинице я, и получил утвердительный ответ. Номер 978. Мы решили тут же лечь в постель и по возможности насладиться неожиданной передышкой. Еще днем я говорила и с мамой, и с Исабель и пообещала им приехать на дачу завтра, до того, как Исабель ляжет спать. Давиду не нужно было звонить, его никто не ждал. Мы залезли в узкую кровать, под пуховик, который то и дело съезжал и был слишком короткий, а подушки слишком мягкие, но это не имело значения. Мы лежали, тесно прижавшись друг к другу, и слушали непрекращающийся шум движения и гул самолетов, пронесившихся над крышей гостиницы. Мы обнимались, но любви предаваться не стали. Я находилась в полубморочном состоянии от могодона, а Давид нервничал, его сердце стучало громко и быстро. Он не спал всю ночь, и вид у него в утреннем свете, не дающем тени, был плачевный. Чтобы хоть как-то утешиться, мы начали составлять план на ближайшее время. Но безнадежно увязли в практических трудностях и скоро замолчали. Давид, который собирался пойти к себе в номер побриться и принять душ, застыл в дверях. Я лежала в кровати, отяжелевшая, в тоске и с головной болью. Мне хотелось, чтобы он поскорее ушел, а он все не

двигался с места. Я смотрела на его лицо в резком утреннем свете, оно ничего не выражало, кроме открытости, я никогда не видела Давида таким открытым, да, я не знаю, как мне еще описать это мгновение. А Давид почти беззвучно произнес, что никогда в жизни ему не было так больно. И ушел, медленно прикрыв за собой дверь. И я подумала, неужели обязательно должно быть так больно? Неужели именно так мы должны платить?

КОММЕНТАРИЙ:

Я рассматриваю многочисленные фотографии, слышу, как Марианн рассказывает, деловито, с подробностями. За словами скрывается боль.

Марианн. Пока самолет совершал посадку в Арланде, мы лихорадочно пытались составить какой-нибудь план действий. Снова и снова. Я сразу же возьму такси и поеду за город, к маме и Исабель. Телефон стоит в холле, перед столовой, на столике возле лестницы. Там вечно ходят люди, личный разговор практически невозможен. У Давида никакого точного расписания не было. Ему предстояло производственное совещание в театре и целый ряд заседаний. Создавалось впечатление, что это лишь увертки и отговорки: я не могла бы его поймать. И он не мог мне звонить. Просто и остроумно. Единственно, что мы знали наверняка — расстанемся мы уже в самолете, поскольку не исключено, что мама с Исабель приедут меня встречать. Прощание вышло немногословным. Давид вышел первым, я посидела еще немного, пропуская очередь. Кстати, мои опасения подтвердились. Мама, разумеется, узнала время нашего прибытия. И встречала меня вместе с Исабель и Фабианом. Мы ненадолго заехали на Лидингё. Я распаковала чемодан и собрала все нужное для дачи. Мы разговаривали как обычно. Но мне показалось, что мама смотрела на меня как бы со стороны и с большим вниманием. Исабель не скрывала радости и нежности. Потом суэта прибытия, торжественный ужин, и вечер прошел легче, чем я ожидала. Я позвонила Давиду в четыре утра. Я сидела, сжавшись в комочек, на ступеньке лестницы, на улице шел тихий летний дождь, мебель и предметы в подвижном рассветном свете приобрели четкие очертания. Но

Давид не ответил. Так миновал день. Когда мы собрались за столом на ужин, зазвонил телефон. Я поспешно взяла трубку. Это был Давид. Я сказала, что мы как раз сели ужинать, а он ответил, что в трубке очень шумит, надо сделать новую попытку. Ты не можешь прийти ко мне завтра в три часа? Нет, ответила я, потому что тогда я опоздаю к ужину, и быстро спросила, нельзя ли в час. В это время Давид не мог. Разговор был окончен. Так продолжалось несколько дней. В конце концов, мы сдались, и наступило молчание. Да, я получила письмо. Оно у меня с собой, могу прочитать его тебе (*читает письмо*): «Я не в силах так жить. Это унижительно, тяжело, невыносимо. Я вижу только одно решение: ясность и правда». (*Замолкает; взволнована.*) Прочитав письмо, я несколько часов бродила по лесу. Я плакала не от горя, а от бешенства. Успокоившись, я пошла купаться, плавала довольно долго. Потом налила себе бокал красного вина и, устроившись в дедушкином кабинете, написала ответ. Я написала, что он разрушил все возможности для продолжения. Что вовремя обнаружив нашу ошибку, мы можем считать себя счастливыми. Я написала, что не понимаю, как он не понимает, или что-то в этом духе. Как он посмел вообразить, будто в этой ситуации есть место *ультиматуму*. Я попросила его больше не давать о себе знать, держаться подальше, в общем, послала его к черту. Я немедленно отправила письмо, даже не перечитав. И чудовищная боль отпустила. Потом мы до вечера играли в бадминтон. Ночью ко мне пришла Исабель, ей захотелось спать у меня — не знаю, о чем она думала, у нее много странных мыслей в голове. Мы заснули. И я впервые после возвращения спала глубоким сном. На следующий день боль вернулась, но она была терпимой. Будни начали приобретать свои привычные очертания и пропорции. Я тихонько радовалась скорому началу осеннего сезона, у меня была хорошая — небольшая, но хорошая роль в хорошей пьесе. И вот вернулся Маркус. Усталый, чуть изможденный, но довольный своими успехами, сделанными ему предложениями и возвращением домой. И счастливый от возможности снова видеть Исабель. Когда Маркус в настроении, он словно бы светится изнутри, поэтому я тоже была довольна. Конечно, он спрашивал меня о Париже и о Давиде, но так, мимоходом. Мне не пришлось слишком

много врать. Двадцатого августа открылся театр, как всегда, состоялось собрание труппы. Мы с Давидом, естественно, встретились и поздоровались, формально обнявшись в общей сутолоке. Молча. В крупном театре люди встречаются довольно редко, работаешь ведь в разных постановках, на разных сценах. Однажды мы буквально столкнулись за углом. Смущенно рассмеялись. Я спешила. Давид спросил, не могли бы мы ненадолго встретиться в его кабинете после его и моей репетиций. Почему бы и нет, услышала я свой ответ. И мы разошлись. Да. Так и случилось. Кабинет Давида находится в «режиссерском коридоре», пропахшей плесенью кишке без окон, тянущейся вдоль торца здания. Сам кабинет отличается отсутствием всякого уюта. Разнокалиберная мебель, серые от грязи шторы, с потолка свисает сонный стеклянный шар. Переполненные книжные полки, стол, заваленный неразобранными бумагами. Мы садимся друг напротив друга за стол у окна, которое выходит на стену дома и пропускает кислый сумеречный свет. Давид посерел от бессонницы, ночных бдений, небрежности в еде и неумеренных возлияний, в первую очередь от последних.

СЦЕНА:

Давид водит ладонями по исцарапанной столешнице. Он сидит, выпрямившись, и разглядывает свою правую руку. Марианн украдкой наводит порядок на своей стороне стола, потом наклоняется и пытается поймать взгляд Давида.

Давид. По-моему, дело идет к катастрофе. Здесь. В театре. Театральной катастрофе.

Марианн. В столовой кое-что болтают.

Давид. Я предупреждал актеров. Я сказал, что из «Долгого путешествия в ночь» мы сделаем *анти-театр*. Уже пора. Всем, кроме Эвы, идея чертовски понравилась. После полутора месяцев работы у нас царит полнейшая неразбериха. Мы становимся смертельными врагами. Аксель пожаловался шефу. Но я не сдаюсь. Почему ты молчишь?

Марианн. Я слушаю.

Давид. Считаешь, что я схожу с ума? Ошибаюсь во всем, по всем пунктам? (*Марианн молча качает головой.*) Ссора в театре — лишь следствие скрытой неудачи. Скажи мне, почему я

все время делаю ошибки? Почему я не так себя веду с этими чертовыми актерами? Почему не так себя веду с тобой? Что-нибудь случилось или изменилось, а я этого не заметил? А еще этот фильм, съемки которого сначала отложили, а теперь и вовсе прикрыли. И вечные перебранки по поводу денег. У меня долгов, черт побери, по уши. Иногда делается просто смешно. (*Тихо смеется.*) У меня жуткая бессонница. Нет, нет, не спиртное, как ты, наверное, подумала, только таблетки, дающие мне несколько часов. А результат получается скорее обратный. Я говорил со спецом по психам, и он мгновенно поставил диагноз: «тяжелая депрессия». Он хотел дать мне больничный.

Марианн. А ты бы этого хотел?

Давид. Ни за что на свете. Ты собиралась что-то сказать?

Марианн. Собиралась предложить тебе встретиться, но передумала.

Давид. Можешь пригласить меня на будничнй ужин, как раньше. Повидаю Исабель. И Маркуса, конечно. Кстати, как он себя чувствует?

Марианн. Ты же знаешь, Маркус всегда чувствует себя превосходно. Ах да, у него болит палец на ноге.

Давид. Да, это незадача.

Марианн. Даже не знаю, что мне с тобой делать, и не знаю, почему я воображаю, будто именно я должна что-то делать.

Давид. Но согласись, что я сейчас настоящий скоморох. (*Тихо смеется.*)

Марианн. Как бы то ни было, но мне нужно идти. (*Быстро глядит Давида по щеке и затылку.*) До чего же ты оброс.

Давид. Именно. Я перестал заботиться о своем внешнем виде.

Марианн. Говорят, у тебя роман с Фанни.

Давид. Это Фанни так утверждает.

Марианн. Пока, мой маленький неряха. А насчет ужина я подумаю.

Марианн. Через несколько дней у нас в труппе заболел один актер, и вся вторая половина дня оказалась свободной. Я в темноте пробралась на второй ярус, чтобы посмотреть репетицию Давида (или обломки репетиции). Четыре актера в ярких пластиковых костюмах были помещены в декорации, оставлявшие сценическое пространство пустым. На заднем

плане — ажурная серебристая стена. За стеной угадывался гигантский крест и на нем окровавленная, изломанная фигура Христа. Пол покрыт грубо отесанными, неровными каменными плитами. В центре, в глубине сцены, огромный круг из оранжевой глины. Актеры были заключены в этот круг и ни разу его не покидали. Световое оформление безжалостное. На последних рядах партера смонтировали с десятков мощных софитов на уровне лиц актеров, разъедающий свет. Давид стоял внизу у сцены, опираясь локтями на рампу. Из боковых динамиков раздавались записанные на пленку звуковые эффекты, то оглушительные, то едва слышные: резкие, бормочущие, отрывочные, длинные, душераздирающие, монотонные. Несколько тактов из джаза 20-х годов. И Давид требовал, чтобы в этом аду актеры говорили попеременно громкими, напевными, шепчущими голосами. Темп менялся от дикой ярости до минутных пауз. Движения были выстроены в своего рода хореографию, временами противоречившую тексту, которому в остальном следовали неукоснительно, без изменений и купюр, или издевавшуюся над ним. Когда я села на второй ярус, у Эвы шла сцена с юной горничной, но той вроде как и не существовало. Эва произносила ее реплики, сама говорила, сама отвечала. Она упала на колени, патетически разведя руки и запрокинув голову. Свой длинный монолог она то декламировала, то пела, то бормотала. Время от времени беспомощно падала вниз лицом. Трое мужчин стояли или лежали в неудобных позах в оранжевом круге.

Бергман. И как ты на это реагировала?

Марианн. Как реагировала? Я увидела во всем этом непостижимую ярость, агрессию, выходящую за рамки нормальности. Ненависть. Ненависть к театру. К актерам. (*Марианн проводит рукой по лицу.*) Эва на редкость талантлива, и мне показалось, что она инстинктивно поняла кое-что из замысла Давида. Несмотря на смирительную рубашку (в совершенно невозможном, чудовищно уродливом костюме), ей каким-то удивительным образом удалось добиться проникновенности. Она контролировала свою ярость, и дикция у нее была безупречна. Но Давид прервал ее: «Подожди, Эва. Мне очень мешает жвачка, которую жует Юхан. Юхан, пожалуйста, сходи к помощнику режиссера и оставь жвачку под его присмотром». Юхан, лежащий на боку ли-

цом к Эве, перекачивается на другой бок и спрашивает, *каким именно образом* мешает работе его жвачка. Давид парирует, что она просто-напросто *ему мешает*. Юхан говорит, что это *антиникотиновая жвачка*, прописанная ему врачом. «И все равно, я буду чертовски тебе благодарен, если ты перестанешь *жевать* на сцене», — по-прежнему вежливо отвечает Давид. «Существует опасность, что при нынешних обстоятельствах я опять начну курить», — говорит Юхан и садится, скрестив ноги. «Каких таких *обстоятельствах*? Пожалуйста, будь так добр, *вынь изо рта* жвачку». Юхан выплевывает жвачку прямо в лицо Давиду. Она не попадает, но пролетает мимо его уха. «Вот так, теперь мы можем продолжить, — бодро произносит Давид. — Давай, Эва». Он хихикает, словно речь шла о маленьком капризе. Аксель, прикрывая рукой глаза, просит дать ему стул, он не в силах больше стоять, у него больное колено. Давид сразу же отдает приказ, и Кай приносит стул. Аксель неторопливо усаживается. Прокашливается и благодарит Кая за любезность. «Что ж, тогда начнем сцену Эвы с самого начала», — говорит Давид. На несколько секунд воцаряется тишина. Густав, сидевший на корточках, демонстративно встает и разгибает спину. «Нет, — говорит Эва к всеобщему изумлению. У меня нет сил еще раз изображать это дерьмо. По крайней мере сегодня. А лучше всего до премьеры, — добавляет она. «Если премьера *стоится*», — произносит Густав, до сих пор молчавший. «Что ты имеешь в виду?» — спрашивает Давид. Голос дрожит, голова втянута в плечи. «То, что сказал», — отвечает Эва, поднимаясь с колен. «В таком случае не имеет смысла продолжать, — резко бросает Юхан. — По-моему, дружище Давид, тебе следует доверительно пообщаться с шефом. Может, тогда ты будешь вынужден выслушать то, что мы пытались тебе сказать все эти восемь недель». «Так вы все были у шефа? Я думал, только Аксель...», — заикаясь выдавливает из себя Давид. Аксель величественно встает, нагибается и аккуратно поднимает с пола тетрадку с ролью. «Меня тошнит от этих разговоров, я буду у себя в гримерной до трех часов, если кто-нибудь соблаговолит сообщить мне насчет завтрашней репетиции». И не спеша уходит. Аксель умеет уходить. Помреж замер в ожидании:

на часах без двадцати три. «Пожалуй, имеет смысл — закончить». Давид смеется. «Вот именно», — говорит он и круто поворачивается. Помреж спешит к себе в каморку, режущий свет гаснет, зажигается рабочий свет и свет в зале. Эва, не двигаясь с места, растягивает и разравнивает свой неудобный костюм, плотно обтягивающий ее большую грудь. «Не знаю, — говорит она. — Иногда мне кажется, что мы делаем глупости». Густав, потягиваясь, нервно зевает: «Это ведь не хуже всего того дерьма, в котором мы сидим». «Хуже, — отзывается Юхан, — «намного хуже, потому что это талантливое дерьмо». Эва останавливается у выхода: «А ведь, по правде говоря, мы с ним вначале были согласны».

Бергман. Через несколько дней Аксель заболел?

Марианн. Он сломал ногу. И в этом никто не мог обвинить Давида. Так что премьеру отложили. А потом и пьеса исчезла. Так всегда в театре — сперва жуткий переполох, а затем — ничего. Наверное, единственным итогом несостоявшейся постановки Давида было то, что она получила своего рода статус культовой. Больше всех отличился Юхан, который повсюду разглагольствовал о том, как руководство неуклюже обращается с «великим и новаторским».

КОММЕНТАРИЙ:

Мне думается, что рассказ Марианн о катастрофической репетиции можно очень удачно изобразить. Она же находится там, на втором ярусе, и одновременно здесь, в моем кабинете, крупным планом. И еще одна причина: изображать кошмар наяву (когда он особенно страшен) — всегда благодарная задача.

Марианн вежливо спрашивает, не против ли я, если она затянется пару раз сигаретой. Она зажигает сигарету, рука дрожит, она втягивает дым в легкие и выдыхает. Вкус ей не нравится, и она гасит сигарету в керамическом блюде, стоящем на моем столе.

Марианн. Спустившись со второго яруса, я напрямик отправилась в кабинет Давида. Его там не оказалось, но дверь была не заперта, так что я осталась ждать. Я была сама не своя, готова разрыдаться без слез, не соображала, наверное, что я делаю. Или соображала. Наконец пришел Давид. Увидев ме-

ня, он замахал руками — еще тебя не хватало. «Сейчас я не хочу говорить, и никаких соболезнований. Марианн, пожалуйста, уйди и закрой за собой дверь». Я подошла к нему и крепко, насколько могла, взяла за руку. И сказала, что приду к нему домой через час. И ушла не оборачиваясь. В четыре часа я стояла на площадке возле его квартиры и нажимала кнопку звонка, раз за разом. Никто не открывал. Ну и хорошо, так оно лучше. Чуть ли не облегчение. Мной овладело раскаяние, настоящее крестьянское раскаяние, пора уходить. Тут он и появился, тяжело дыша, бежал по лестнице, лифт был сломан. У меня не хватило духу спросить, почему он опоздал. Он тоже ничего не объяснил. Это было как сон, в котором то, чего ты боишься больше всего, повторяется и повторяется. Все произошло по-другому, но без любви, а неуклюже и агрессивно. Давид был нетерпелив и отстранен, а меня терзал страх. В голове билось: не понимаю, не понимаю, не понимаю.

СЦЕНА:

Марианн. Мы лежали рядом на кровати, голые. Я взяла его за руку, он попытался вырвать ее, но я не дала.

Давид. Пожалуйста, Марианн, не надо театра.

Марианн (смеется). Если все, что бы мы ни делали, станет называться плохим или хорошим театром, то положение будет безнадежным.

Давид. Ты смеешься?

Марианн. Потому что это прискорбно.

Давид. Прискорбно?

Марианн. Мы с тобой. Ты и я.

Давид. Я все время знал, что ты сидишь на втором ярусе и видишь этот кошмар.

Марианн. Иногда мне кажется, что закутываешься, как в мантию, в свои несчастья. Простое не должно быть простым. В каждой причине скрывается другая причина, и так до бесконечности. И ничёго странного в том, что мне стало тебя жалко.

Марианн встает и начинает одеваться. Давид сидит на кровати, скрестив ноги.

Марианн. У тебя такой вид, словно ты размышляешь, сколько стоил половой акт.

Давид. Я, безусловно, полный идиот.

Марианн. Самоозарение или кокетство?

Давид. Я вот что хочу сказать. Если такой человек, как ты, чувствует нежность к такому, как я, в момент унижения. Если это так, мне следовало бы испытывать краткую благодарность. А вместо этого я веду себя как идиот. Где же предел моей глупости. Марианн, обернись, посмотри на твоего идиота.

Марианн присаживается на край кровати и прикидывает лбом ко лбу Давида.

Марианн. Мы сидели, тесно прижавшись друг к другу. Я опять взяла его руку, на сей раз он не сопротивлялся. И я сказала ему, что мне очень не нравится его трактовка «Длинного путешествия». Что все пронизано бессилием и ненавистью. Бедные актеры, которые, увы, занимаются этой профессией. Бедный театр, который должен испытывать стыд за то, что он — театр. И бедный Давид, который не выносит заговора театра с бедными зрителями. Я сказала, что не верю в подобное кровопролитие. Давид молчал, пока я говорила и говорила. Он успокоился, стал нежен. Захотел предаться любви, но я спешила. Боялась опоздать к ужину. И тогда он тихо спросил, не можем ли мы увидеться еще раз, в другой день, когда угодно. И капкан захлопнулся. (*Марианн умолкает.*)

Давид. Когда мы сможем увидеться, когда ты можешь? Когда хочешь?

Марианн. Сейчас мне довольно трудно вырваться. Каждый день репетиции, премьеры назначена на начало следующего месяца, и я хочу как можно больше бывать дома с Исабель. И Маркус дома. Будет чертовски сложно, но пусть в понедельник. В этот понедельник. В три. У тебя.

И мы расстались, проявив осторожные доказательства наших нежных чувств. Сидя в машине и лавируя в потоке движения, я осознала, четко и ясно — теперь все покатится к черту. И тут же сказала себе, что я преувеличиваю опасность и что непременно буду держать себя под строгим контролем.

5

КОММЕНТАРИЙ:

В этот день на Марианн было длинное черное платье простого кроя, с бретельками. Волосы взбиты и завязаны в искусный узел а-ля Лотрек. На шее дорогое ожерелье с замочком из изумруда, в ушах старинные серьги. На ногах босоножки на высоченных каблук-ках. Она идет на прием, как мне было сказано.

Марианн. Прием у губернатора в честь дня рождения жены Сельмы. Ей исполняется пятьдесят.

Бергман. Ага. Вот как. Ну и ну. У тебя вдруг появилась собственная действительность, о которой я ничего не знаю.

Марианн. Ты не спрашивал.

Бергман. Это, конечно, верно. Не спрашивал.

Марианн. Потому что тебе, очевидно, неинтересно.

Бергман. А должно было быть интересно?

Марианн. Вот видишь.

Бергман. Что вижу?

Марианн. Тебе интересно только то, что связано с нашей драмой, или чем мы там еще занимаемся.

Бергман. Это правда, и, наверное, невежливо. По-твоему, это невежливо?

Марианн. Да пожалуйста. Не смущайся. Я — это я, а ты — это ты. Хотя, может, и не совсем так. По большому счету. Кстати, такого рода приемы не в моем вкусе.

Бергман. Я думаю про себя, но вслух ничего не говорю: Ты все-таки сюда приходишь. Несмотря ни на что не хочешь отказать от наших послеобеденных встреч. Наше общение стало для нас общим делом? Или это по-прежнему лишь игра? Для меня во всяком случае наши встречи эмоционально заряжены. Может, даже стали заклинанием, запоздалой попыткой создать смысл и взаимосвязь, желанием понять что-то, что я слишком долго отвергал. Как бы то ни было. Я начал испытывать сильнейшую зависимость от посещений Марианн. И мы прониклись доверием друг к другу. Да, да. Я знаю. Этот день рождения вызывает у меня тихий протест. Говорят, что дирижеры создают «дирижерскую музыку». Шесть ролей Пиранделло бродят по сценам всего мира в тщетной погоне за жестоким и рассеянным автором, который

оставил свои создания незавершенными и сбитыми с толку. Да, я знаю. Но я твердо убежден, что Марианн сама по себе, она не принадлежит мне. В это самое мгновение она столь же реальна, как и я.

Марианн. Мы с Давидом приспособились. Встречались пару раз в неделю в его чудовищно тоскливой квартире. Чаще всего после моих репетиций. «Долгое путешествие» отложили на неопределенное время. У Акселя возникли осложнения после операции на бедре. Давид тратил свою неумную творческую энергию на неподъемный и нереальный проект: создание единого спектакля по двум романам Альмквиста — «Аморина» и «Драгоценность королевы», который бы шел семь часов. Все горели энтузиазмом, но в нем ощущался привкус угрызений совести. Премьера моего спектакля состоялась и прошла почти бесследно, зрителей было мало, мы играли при полупустом зале. Меня это не очень волновало. Я была целиком поглощена тем, чтобы интегрировать свою новую тайную жизнь в имевшуюся действительность. Временами меня мучили угрызения совести, или, может, это были не угрызения совести, а самое настоящее горе.

Бергман. Горе?

Марианн. Да, горе. Я горевала из-за своей полной незащищенности. Со мной случилось что-то, с чем я не могла справиться. Даже хуже: я твердо знала, что каждый день был ошибкой. Настоящей ошибкой. У меня появились симптомы язвы желудка, пришлось принимать лосек. Но принять сколько-нибудь разумного и радикального решения я была не в силах. Мне трудно, нет нужных слов. Я ведь ни с кем не говорю обо всем этом. По крайней мере не с Давидом он сразу же настораживается и начинает нервничать. Я знаю одного священника и одного психиатра, у меня есть надежная подруга — умные, опытные люди. Но как говорить о том, что не имеет слов: один человек вырастает в другого, это неоспоримо, но страшно. Процесс остановить нельзя, это почти биология. Давид вырастает в Марианн, а Марианн боится. Она не желает подвергаться чему-то, чего она не понимает. Давид другой. Он отдается решительно, без оглядки, без всяких условий. Он утверждает, что я не должна быть ответственной за него. Черт возьми, как он может говорить подобные глупости! Порой я страшно устаю от его — наивности или что

это там еще. У него нет ни понимания, ни самоосознания. Ты слышишь мою интонацию. Несмотря на все практические трудности, время было хорошее. Вообще-то я благодарна судьбе за то, что мне пришлось пережить. Благодарна и в то же время напугана. И вот возвращается Маркус. Я живу с двумя мужчинами. Это оказалось легче, чем я думала. Если бы не мои чертовы убеждения, все сложилось бы замечательно. Даже чуть забавно. Сейчас у нас вполне сносные отношения, потому что я люблю Маркуса. Наша семейная жизнь всегда складывалась прекрасно. Не думаю, что он что-нибудь подозревает. Он только удивляется моей необыкновенной заботливости. Иногда на ужин приходит Давид, и все проходит, как бывало прежде. Я убеждаю себя, что мне следует быть довольной. И я пытаюсь забыть, что живу под постоянной угрозой.

КОММЕНТАРИЙ:

(Этого комментария нет в конечном варианте. Он — личный.)

Много лет тому назад я знал одного выдающегося жонглера. Считалось, что он слегка помешан, не в себе, не в своем уме. Свои дни он закончил в больнице Лонгбру. Я навещал его несколько раз в году. Он трезво оценивал свою профессию, но все же лелеял одну мечту. Вернее, для него это была не мечта, а просчитанная реальность. Он представлял себе номер с семью мячами, и тут ничего такого примечательного не было. Необычность заключалась в следующем: старый жонглер чисто теоретически рассчитал, как ему заставить третий мяч застыть в воздухе на долю секунды. Он всерьез практиковался, год за годом. Насколько мне известно, до самой смерти. Он неустанно тренировался и экспериментировал, и в какой-то момент почувствовал, что приближается к техническому решению проблемы. И никогда не впадал в уныние. Ну, хватит о моем друге жонглере. Я — я собственной персоной, — пишуший сейчас эти строки (сейчас десять минут первого ночи, 6 июня 1997 года), всю свою сознательную творческую жизнь был твердо убежден, что способен снять полнометражный фильм, который *в основном состоял бы из одного-единственного крупного плана.*

Я начал упражняться давным-давно, осторожно и не слишком демонстративно, дабы не испугать своих вечно нервничающих продюсеров. Прошли годы, я брел по извилистым тропинкам. Даже

написал сценарий фильма, состоявшего из одного изображения. Но выбранная мной актриса отказалась, и я утратил мужество. Теперь я неумолимо пишу эту повесть, имеющую оптимистическое рабочее название «*Партитура для одного средства изображения*». Марианн рассказывает о каком-то событии (в ее жизни или в моей, не важно), а я представляю себе, что конечный результат будет состоять из крупного плана Марианн. Я не собираюсь становиться догматиком, в этом мое преимущество перед моим другом жонглером. Иногда в кадре появляется дочь Марианн, Исабель, которая пересказывает свои сны и фантазии. В хорошо спланированных игровых сценах слово предоставляется и Маркусу, и Давиду. Некоторые эпизоды возникают на заднем плане, постепенно перемещаясь на передний, где они оккупируют практически весь кадр, за исключением лица Марианн, — *оно присутствует постоянно*. Главное, стало быть, не рабское исполнение замысла, а невиданная возможность создать у наблюдателя-зрителя иллюзию того, что он непрерывно, в течение нескольких часов, находится лицом к лицу с женщиной, которую здесь зовут Марианн, но у которой на самом деле было какое-то другое имя. Для меня крупный план, непрерывный крупный план (человеческое лицо вплотную к моему лицу), — самое примечательное изобретение кинематографа. Ни одно другое искусство этого не умеет, не умело, не будет уметь — и так далее и так далее. Теперь Марианн продолжает:

6

Марианн: Как-то в начале ноября, по-моему пятого, у нас состоялась первая читка «На пути в Дамаск». Я исполняю роль Дамы, роль, мягко сказать, неблагоприятная. Задача бедной актрисы состоит в том, чтобы слушать монологи главного героя. Она вскоре становится невидимкой. После читки началось обсуждение, и я опоздала к Давиду. Но это не имеет значения. Мы рады встрече. Последний раз виделись три недели назад: Исабель болела ветрянкой, и я старалась как можно больше бывать дома. Мы пьем чай, болтаем. Давид показывает красивые рисунки и фотографии, относящиеся к его грандиозному проекту по Альмквисту. Я рассказываю о нескольких нудных съемочных днях в одной «мыльной опере». За окном сгущаются зимние сумерки. Я задергиваю занавески и зажигаю ночник в стиле модерн на ночном столике. Мы раздеваемся и ложимся. В кои-то веки можно не торопиться: у Маркуса репетиция, а Исабель у бабушки. (*Марианн замолкает.*) От того, что я тебе сейчас расскажу, у меня портится настроение, настолько это унизительно и смешно. Именно здесь начинается трагедия, хотя вначале это было больше похоже на фарс Фейдо.

Раздаются два коротких звонка в дверь. Потом что-то падает на пол сквозь почтовую щель. Мне кажется, что Давид крепко спит (отсыпает снотворное).

Я тихонько, чтобы не разбудить его, встаю, надеваю его халат и иду в прихожую. Там темно, но на коврике у двери белеет сложенная пополам бумага. Я подняла ее и зажгла верхний свет. И сразу же узнала почерк Маркуса, короткое сообщение: «Я снаружи. Оденься ипусти меня. Я жду десять минут, после чего открою собственным ключом. У меня есть дубликат». Подпись: М. Проснулся Давид. Я протянула ему письмо и начала одеваться. Прочитав послание, Давид пробормотал что-то, чего я не разобрала точно, но смысл уловила — что-то насчет чертовой личной мелодрамы. Он оделся, я пошла в ванную причесаться. Мы не промолвили ни слова, да и о чем мы могли говорить. Надев туфли, я прошла в прихожую и открыла дверь. Маркус сидел на ступеньке и курил. Я поинтересовалась, где он взял дубликат ключа. Он встал, загасил сигарету и объяснил, что обыскал мою

сумку и на несколько часов выкрал ключ к квартире. «Впрочем, я вру, я *собирался* выкрасть, но передумал. Просто хотел вас попугать, чтобы расшевелить». В прихожей он снял кожаную куртку и спросил, надо ли снимать обувь. Не ответив, я прошла в гостиную-кабинет. Одновременно из спальни вышел Давид, он закрыл за собой дверь. Я успела заметить, что он набросил на кровать покрывало. Маркус стоял, криво улыбаясь: «Собственно говоря, это все». Он сел на стул у стены. «Если вам интересно, то я обо всем узнал еще до вашей поездки в Париж. Я получил довольно подробное письмо от одной из коллег Марианн, не важно, от кого именно». Он замолчал. Я вижу, что он возмущен, но не показывает этого, нужно очень хорошо знать Маркуса, чтобы читать по его лицу. Голос спокойный, дружелюбный, взгляд открытый: «Я был задет, не стану скрывать. Но что я мог сделать с тем, что уже произошло? Я решил занять выжидательную позицию. И поддержал ваш парижский план. Ведь я вас любил. Вы же, черт возьми, были моими лучшими друзьями. Я подумал немного самонадеянно, что им, мол, надо дать возможность побыть вдвоем какое-то время, и страсть — а это же страсть? — скорее всего, сгорит и порядок будет восстановлен. Правда, Марианн? Такое и раньше случалось, и наш брак не страдал». Я спросила его насчет появления Гольдберга. Он только покачал головой. Я спросила насчет его болезни в Лос-Анджелесе. Он безрадостно усмехнулся: «Думаешь, я ревновал так, что заболел? Я был расстроен, это правда, опечален, это правда. Но вот вы вернулись домой, и я понял, что ваши отношения по большому счету подошли к концу». Он надолго замолчал, только поглаживал ладонью правое колено. «Теперь все куда хуже», — тихо произнес он и, побледнев, посмотрел на нас. Потом встал, подошел к двери и, обернувшись, проговорил — я не узнала его голос: «Теперь дело должно идти своим путем». — «Ты имеешь в виду развод?» — «Я точно не знаю, что имею в виду, но что-то, что *причинит боль*. Кстати, ты сегодня приедешь домой к ужину? У меня внизу машина, могу подвезти». Я сказала, что я тоже на машине. Он не ответил, просто вышел и закрыл за собой дверь, почти осторожно. Мы с Давидом в растерянности начали обсуждать, что следует делать и что собирается предпринять Маркус. И

обещали созвониться. Я ушла. По дороге домой я почувствовала, что по моему телу словно растекается яд. Я решила, что заболела, что сейчас потеряю сознание, но этого не случилось. У моста Лидингёбрун мне пришлось остановиться, чтобы перевести дух. Отравой был своего рода ужас, которого я никогда раньше не испытывала. Я не знала, что делать, физически я с этим справиться не могла. Я не знала, что делать с этим ядом, он волнами разливался по телу. Собственно говоря, ничего не случилось, я просто мелю языком, я не могу... может быть, ясность. Может быть, окончательность. Катастрофа? Вот так бывает, когда все рушится? Сейчас, в эту минуту, я не верю, не желаю верить. И Исабель. Новый приступ страха. Исабель. А разве у Маркуса не была на вечер назначена репетиция? Стало быть, ложь. А ключ? Еще одна ложь. Тщательно спланировано, идеально исполнено. Угроза: «теперь будет больно». Не знаю. Я приехала к ужину вовремя. Мы разговаривали. Бабушка привела Исабель, которая мгновенно учуяла — что-то не так. Она начала приставать и капризничать. Я обещала почитать вслух. Маркус устроился в гостиной посмотреть новости. Потом мы смотрели детектив, перебрасывались репликами — и ничего. Маркус был неизменно дружелюбен, может, чуть отстранен. Наконец, мы, пожелав друг другу «спокойной ночи», разошлись по своим комнатам. Мой болезненный страх, затихший было в процессе выполнения вечерних ритуалов, снова прорвался наружу. Я приняла пару таблеток валиума, они помогли на два часа. После чего стало намного хуже. Ужас, заблокированный таблетками, охватил меня с новой силой. Я пыталась читать, но это не помогло. Неясное ощущение отравления заслоняло слова. Я не понимала, что читаю, то и дело бегала мочиться. В конце концов уселась на стульчаке дожидаться утра. Так прошел день, и еще один. Теперь мне предстояло поговорить с Исабель. Я выбрала воскресное утро. Когда Маркус уезжал, Исабель обычно забиралась ко мне в постель, и мы вместе завтракали. После чего нежились в постели и болтали. На дворе стоял декабрь. Воскресное утро в декабре, с отдаленным звоном колоколов и тихим снегопадом. Исабель пила шоколад, я — кофе. Тут я и сообщила ей, как обстоят дела: я переезжаю к Давиду, а Исабель будет жить у бабушки. Маркус — за границей. Он приедет только

через два месяца. Исабель, пока я говорила, сосредоточенно занималась одной из своих кукол. Я стала многословной, пустилась в подробности: мы будем видеться очень часто, единственная проблема для Исабель — более длинная дорога в школу. А бабушка рада. Фабиан будет частенько ее навещать и оставаться на несколько дней. И так далее. Ох, как трудно. Исабель отложила куклу. Я вижу ее внимательное личико и спутанные детские волосики. Вижу, как напряжено ее худенькое тельце под ночной рубашкой, ручки скрещены на груди, черт, почему так должно быть, черт, черт. Она сглатывала и сглатывала слюну, лицо ее ничего не выражало, было совершенно пустое. И я чуть было не сказала: Забудь, Исабель. Я болтаю чепуху, мы с тобой всегда будем вместе, всегда. Вместе, что бы ни случилось. Самое главное для нас не потерять друг друга. Я замолчала, не знала, что еще сказать, и Исабель спросила, не может ли она тоже переехать к Давиду. Я ответила, что у него слишком тесно — так оно и было на самом деле. Но Давид собирается подыскать квартиру побольше. А как будет с папой? Я сказала что-то вроде того, что нам с папой надо какое-то время пожить отдельно, и сама услышала, насколько по-идиотски это звучит. И замолкла. «Ты влюблена в Давида?», — спросила она, и я увидела, как раскрылась и снова сжалась ее ладошка. «Я влюблена в Давида. Я не могу жить без него». И в то же время у меня в голове пронеслось: Что это такое я говорю, какая бессмыслица, я не могу жить без Давида? Но я знала, что это правда. Я не могу жить без Давида. Исабель встала, поставила чашку из-под шоколада на поднос и молча пошла к себе в комнату. Ее прямая худенькая спинка в дверях. Она не обернулась, мне страстно захотелось, чтобы сказанное осталось несказанным. Что угодно, только не это. В этот момент, именно в этот, жизнь Исабель пошла непредсказуемым путем. И виновата в том была я. Результат: когда Исабель молча ушла к себе в комнату, даже не обернувшись, наша с Давидом близость (любовь?) оказалась лицом к лицу с бесповоротным, пропитанным ядом фактом.

7

СЦЕНА:

Марианн в совместном офисе адвоката Мартина Гольдберга и его отца. Кабинет обставлен светлой мебелью Мальмстена и украшен дорогими произведениями искусства рубежа XIX — XX веков. На худощавом адвокате голубой костюм от Армани. От адвоката распространяется мягкий аромат лилий.

Мартин Гольдберг. Могу я тебя чем-нибудь угостить? Может, выпить? Нет? Этот кабинет раньше принадлежал отцу, но когда я начал работать в фирме (несколько лет тому назад), он отдал его мне. На том портрете — моя мать, она была красавицей, правда? Мне было три, когда ее не стало. Очень мило с твоей стороны, дорогая Марианн, что ты так быстро откликнулась на мой призыв. Я знаю, как ты занята. И играешь, и репетируешь. (*Молчание; Марианн разглядывает мать Гольдберга.*) Повод для нашей встречи мог бы быть более приятным. Я много раз говорил с Маркусом, детально разбирался в деле. Мы пытались выработать какой-то основной план, который можно и нужно обсуждать. Кстати, я слышал от Давида (у нас получился не слишком любезный разговор, к тому же чересчур общий), что ты не намерена нанимать собственного адвоката. Я должен настоятельно посоветовать тебе изменить свое решение. Это оградит тебя — всех нас — от множества неприятностей. Я позволил себе составить список подходящих людей, которые способны оказать тебе бóльшую помощь. В основном это мои коллеги-женщины. Вот, возьми, здесь указаны их адреса и телефоны. Да, да, да. Давай расставим все точки над *i*. Как тебе, думаю, известно, Маркус глубоко оскорблен. Нельзя отрицать, что случившееся постоянно мучает его. Он утверждает, что терпеливо и снисходительно сносил твою... связь с Давидом. Он надеялся, что — как бы это сказать — ваша страсть, ваша страсть вскоре сгорит и ты вернешься в лоно семьи. Он хотел этого и был готов ждать — достаточно долго. Но этого не произошло. Вы с Давидом в январе — в январе? (*Марианн кивает.*) переехали в меблированные комнаты. Эту квартиру Давид снимает. И Маркус посчитал, что ты окончательно оставила ваш общий дом, и ты, не спросив

мужа, взяла с собой Исабель. Скажи мне, если я в чем-то ошибаюсь. Я основываюсь главным образом на версии Маркуса, и было бы разумным придать его словам некую окраску — ну ладно. Если я правильно понимаю, ты требуешь скорейшего развода. Маркус готов согласиться, но сильно сомневается. По его мнению, тебе надо дать шанс обдумать ситуацию, поэтому он предлагает договор о временном разъезде сроком на два года. Да, да. Ты, вероятно, уже слышала об этом, но не отреагировала. Стало быть, речь идет о немедленном разводе. Материальные условия, насколько я понимаю, сложностей не представляют. Тут щедрость проявляют обе стороны. Проблема — естественно — в опеке*. В опеке над Исабель, которой сейчас девять лет. Ты в личном письме Маркусу предложила разделить опеку, но Исабель при этом будет жить с матерью и Давидом. К сожалению, должен тебе сообщить, что Маркус отказывается рассматривать такую возможность. Мне больно об этом говорить, но я вынужден признаться: Маркус непреклонен. Он требует полной опеки, и Исабель должна жить с ним. Без каких бы то ни было ограничений. Чтобы подчеркнуть свою решимость, он утверждает, — мы говорили с ним об этом по телефону не далее как вчера вечером, — что намерен отказаться от всех своих международных контрактов и в обозримом будущем оставаться в Швеции. Он подкрепил свое решение, связавшись со здешними учреждениями, которые, конечно, с восторгом приняли его предложение. Как ты понимаешь, из всего сказанного следует, что Маркус чрезвычайно серьезно относится к своему решению. Блестящей международной карьере он предпочел жизнь с дочерью. Кстати, он уже говорил с вашей няней, Сильей Тойвонен — и...

Марианн. Он говорил с Сильей, и она... я не слышала об этом ни слова.

Гольдберг. Ответственность лежит на мне. Когда она была здесь на прошлой неделе, я настойчиво попросил ее ничего тебе не сообщать до тех пор, пока мы с тобой не встретимся. Если ты

* По шведскому семейному законодательству над ребенком (детьми) устанавливается опека, частичная или полная. В российском законодательстве такой нормы нет. (Прим. переводчика.)

считаешь ее поступок нелояльным по отношению к тебе, на-
правь острие своей критики на меня. Итак, Силья Тойвонен
изъявила желание заботиться об Исабель даже и в ради-
кально изменившихся условиях, она глубоко порядочная...

Марианн. Значит, вот что происходило за моей...

Гольдберг. Марианн, еще раз говорю, возьми себе адвоката.

Марианн. Я должна закурить.

Гольдберг. Разумеется — вот пепельница. Прошу.

Марианн. Меня всю... трясет. Я так... взбешена, что...

Гольдберг. Я понимаю. Если хочешь, давай закончим.

Марианн. Нет, нет, продолжай, это по меньшей мере интересно.

Гольдберг. Маркус, стало быть, уверен, что способен создать
для Исабель настоящий дом. Тебе, конечно, будет обеспече-
но щедрое и свободное право на общение с ней. Это само со-
бой разумеется. Но по поводу опеки Маркус непоколебим.
Как ты понимаешь, дорогая Марианн, твое положение до-
вольно шаткое. Лет двадцать тому назад у тебя не было бы
ни малейшего шанса в шведском суде. В то время формули-
ровка основывалась на морали: «жена бросила семью», так
это называлось. Сейчас предсказать исход труднее. Но ты
должна рассчитывать на определенные неприятности. В дело
вмешается — не исключено, злонамеренно — социальная
служба. И она проведет тщательное расследование, в кото-
ром вас с Давидом взвесят на весах. Да, дорогая Марианн,
вот что я хотел тебе сказать. Я — лишь бедный вестник,
принесший отвратительное известие. Не отрубай мне голову,
пожалуйста. Я лично страстно желал бы, чтобы этот кон-
фликт разрешился мирным путем. Но насколько я понимаю,
это невозможно.

Марианн. Маркус хочет причинить мне как можно больше боли.

Гольдберг. Это твое толкование.

Сцена закончена.

Марианн. Мы из всех сил старались соответствовать тем требо-
ваниям, которые предъявлял к нашей любви сделанный нами
выбор. Угроза судебного процесса сблизила нас. За исклю-
чением тех моментов, когда с нами внезапно случались при-
ступы агрессивности. Мы с ужасом наблюдали эти вспышки
гнева и торопились заделать трещины, которые возникали

при самых неожиданных обстоятельствах. Нам не нравилась снятая квартира, слишком большая, слишком дорогая, слишком кокетливо обставленная. Наше, теперь совместное, финансовое положение было хрупким. У Давида с деньгами было совсем худо, он в цифрах не разбирался. Я пыталась навести порядок в этом хаосе, но то и дело обнаруживала новые прорехи. Никакого спасительного фильма на горизонте не появлялось, ни для него, ни для меня. В конце концов, мы отдали себя в руки экономического опекуна, старого ревизора, который с нескрываемой радостью каждый месяц выдавал нам прожиточный минимум. Я делала неоднократные попытки связаться с Маркусом, но он был недоступен. Сообщения и информацию передавал его старший брат Юаким. Он проявлял дружелюбие и сочувствие. Маркус соглашался общаться с Исабель на «нейтральной территории». Любые естественные и разумные варианты отвергались. Давид написал взвешенное письмо Маркусу, в котором просил разделить опеку. Я добавила пару строк, прося, или вернее, умоляя его о встрече. Письмо вернулось — нераспечатанным. Однажды мы подверглись похожему на пародию допросу социального управления. На диване кирпичного цвета сидела молодая привлекательная женщина. Она вежливо извинилась за свое вторжение и за то, что «по долгу службы» вынуждена задать несколько назойливых вопросов. Она обладала на удивление обширной информацией и обратилась сначала к Давиду. Подробно расспросила его о первом браке. Особенно о детях и его с ними общении, что было довольно мучительно, поскольку Давид практически не виделся с сыновьями. Потом перешла к разделу «финансы». В этом вопросе она разбиралась лучше Давида, который даже рассмеялся. Он заверил ее, что его финансовое положение хуже некуда и вряд ли изменится в обозримом будущем. Он признался, что у него остался долг после несостоявшейся постановки двенадцать лет назад, около четырехсот тысяч крон. Его тут же поправили: четыреста семьдесят пять тысяч. И, наконец, Петра Хольст поинтересовалась у Давида, какой ему видится дальнейшая жизнь. Он ответил, по-прежнему улыбаясь, что мы собираемся пожениться и создать «стабильные отношения», не знаю уж, что он имел под этим в виду. Он замолчал, после чего уже другим тоном добавил,

что он привязан к Исабель, и Исабель привязана к нему. «Мы давние друзья», — сказал он, улыбнувшись. Социальное управление тоже улыбнулось. Давид обладает большим талантом располагать к себе людей, когда он этого хочет. И Петра Хольст повернулась ко мне и начала расспрашивать о трехнедельном пребывании в Париже. О возвращении домой. О том, что Исабель почти все время живет у бабушки. Она настояла, чтобы я подробно рассказала о причинах моего «ухода» из дома, когда я «без оглядки» переехала к Давиду, и почему я отправила Исабель к бабушке на «длительную парковку». Давид резким тоном попросил фру Хольст выбирать выражения. Социальная служба стушевалась. Извинившись (у нее покраснел лоб), она тем не менее потребовала, чтобы я изложила — по возможности детально, мои мотивы. Давид поинтересовался, не придется ли мне отчитаться о количестве оргазмов и сексуальных позах. Ситуация внезапно зашла в тупик. Свет из окна, отражаясь в очках Петры Хольст, предательски выдал красноту и на ее висках. Тот страх, о котором я уже говорила, нанес молниеносный и неожиданный удар. Мне стало нехорошо, я растеряла все слова и думала лишь, не вырвет ли меня. Петра Хольст не отрывала от меня глаз: «Я долго говорила с твоей матерью. Попросила ее изложить свое мнение насчет психического состояния Исабель по сравнению с ее прежней жизнью. Твоя мать высказала глубокую озабоченность. Поведение Исабель изменилось существенно. Плохой сон. Кошмары с резким пробуждением и слезами. Плохой аппетит. Беспокойство. Трудности с концентрацией внимания в школе. Ее учительница по собственной воле дала о себе знать». Петра Хольст читала свои записи. Закончив, она подняла глаза и посмотрела на меня и Давида через отсвечивающие очки. Не в силах вымолвить ни слова, я, естественно, начала плакать (потому что была в бешенстве). Петра Хольст взяла портфель, блокнот и небольшую красивую шаль. Дружелюбно, но формально попрощалась. На мой вопрос, что будет дальше, она ответила, что, к сожалению, по этому поводу ничего сказать не может. Очень многое зависит «от дальнейшего развития и оценки имеющихся фактов» — или что-то в этом роде. Меня трясло, я продолжала плакать, хотя и пыталась взять себя в руки, — как же все это было унижительно.

С леденящей душу очевидностью мы с Давидом осознали: спектакль у нас вышел на редкость отвратительный. Мы были бессильны и могли, по сути, говорить что угодно, чтобы успокоить себя и друг друга. Любые слова были недействительны. Разговор получился взвинченный, пронизанный страхом, но бессмысленный, поскольку нанесенный вред и так был велик, и он усугублялся еще больше по мере того, как мы старались утешить друг друга. Но, несмотря на весь сумбур, мы все-таки пришли к необходимости нанять адвоката. Я вспомнила про свою школьную подругу, ее звали Анна Берг. Я встретила ее на последнем студенческом юбилее, и она сообщила, что устроилась в хорошую адвокатскую фирму и специализируется по семейному праву. Я позвонила ей — на авось, и она сразу же взяла трубку, что я сочла хорошим знаком. Мы увиделись уже на следующий день и несколько часов обсуждали проблему со всех сторон. Анна выражала оптимизм (по убеждению ли или по профессиональной привычке, не знаю).

И вот внезапно наступило лето. Измученные актеры с трудом одолевали последние недели репетиций. Театр играл оставшиеся спектакли, а Давид запустил свой великий проект по Альмквисту, премьера которого должна была состояться не раньше конца ноября. У меня наконец-то появилось несколько съемочных дней. Роль паршивая (зато деньги). Давид начал писать киносценарий, на который возлагал определенные надежды. В многочисленном, но разбросанном по миру семействе Давида имелся старый дядюшка, Карл Окерблум. Почти девяностолетний старик был женат на зажиточной даме, немке по происхождению. Я забыла, как ее зовут. Как же ее зовут? Но это к делу не относится. Дядюшка (он ни мне, не Давиду не приходился дядей, но его все называли «дядюшкой»), так вот, дядюшка Карл со своей женой собрались навестить родственников в Стамберге, к югу от Мюнхена. После этого предполагалось, что он пройдет длительный курс лечения в Бад-Рагаце, и посему их дача будет пустовать три месяца. Давид спросил, нельзя ли ему там пожить, и его предложение встретили с энтузиазмом. Мы переехали на Ивана Купалу, только мы с Давидом. Маркус потребовал, чтобы Исабель провела лето с его семьей. А в августе она приедет к нам. Наконец-то после чудовищной зимы

наступило лето. Судебный процесс казался далеким, почти нереальным. Старый дом тоже делал свое дело: неопишемое здание конца девятнадцатого века, ни разу не отремонтированное и почти не затронутое современными понятиями об обстановке и удобствах. Неухоженный, заросший сад, или как его там еще назвать, полого спускался к фьорду. Мы с Давидом чувствовали себя как в раю. Мы погрузились в ледяную беззаботности. Мы не могли утолить жажду тишины и уединенности. Самая большая комната в доме была отдана под обширную библиотеку. Я лежала в разваливающемся гамаке, читала и засыпала, читала и засыпала. Давид проявлял большую дисциплинированность. Он писал по три часа каждое утро. Послеобеденное время мы проводили вместе, исследуя дом и копаясь в саду. Это было благословенное состояние внутри непрекращающейся бури наших напастей. Не знаю, но мы с Давидом обладаем своего рода талантом беззаботности. В конце июля я констатировала, что беременна. Никакие разумные доводы не смогли помешать нашей радости. Я, правда, немного удивилась, меня не так-то легко оплодотворить, так что мы (я), наверное, пренебрегли кое-какими мерами предосторожности. Я, пожалуй, сама того не зная, хотела иметь ребенка от Давида. Кроме того, я находилась в том возрасте, когда — ладно, плевать на это. Мы прямо-таки купались в нашей беззаботности, а мне было особенно хорошо оттого, что я находилась рядом с Давидом и чувствовала его радость — наконец-то. Когда определилась дата рассмотрения нашего дела, к нам приехала Анна Берг, наш адвокат. Приехала к обеду в стареньком «альфа-ромео», мы болтали и веселились. За кофе наша толстушка преобразилась, превратилась в профессионала. Пошел тихий летний дождик. Мы перебрались в соломенные кресла на застекленной веранде. Анна Берг закурила сигариллю, или как это называется. Я попросила ее не курить, потому что мне нехорошо от запаха табака.

СЦЕНА:

Анна Берг, немедленно загасив в пепельнице сигариллю, внимательно смотрит на меня. Давид подает кофе.

Анна. Извини, что спрашиваю. Ты беременна?

Марианн. Точно не знаю. Кажется, на втором месяце. Хотя я не совсем уверена. Пойду к врачу, когда он из отпуска вернется. Но меня тошнит и все такое.

Анна. Ты намерена сохранить? — Еще раз извини.

Марианн. Иное исключено.

Анна. На слушаниях ты будешь на четвертом месяце. Надо держать язык за зубами. Во всяком случае, суду не должно стать об этом известно. Кто-нибудь знает?

Марианн. Мне придется сообщить театру. У меня роль во второй программе.

Анна. И тогда прощай тайна. Да, да. Кстати, у меня плохая новость...

Марианн. Социальная служба?

Анна. Социальная служба после непривычно долгих раздумий приняла решение рекомендовать Маркуса как единственного опекуна.

Марианн. Этого не может быть.

Анна. Тебе следует знать, что заключение социальной службы — всего лишь рекомендация. Но чаще всего руководствуются именно им. Надо тебе сказать, оно довольно иррационально и может меняться в ходе слушаний.

Марианн. Безнадёжно, (умоляюще) — безнадёжно.

Анна. С другой стороны, ваше положение улучшилось. У вас хорошая квартира, упорядоченные отношения, вы собираетесь пожениться. И, разумеется, бабушка Исабель, она в этом деле играет большую роль.

Марианн. Это же мама нам и подсуропила.

Анна. Не сердись на нее, она не осознавала опасности, думала, что фру Хольст на нашей стороне.

Сцена закончена

Марианн. В то время как Анна Берг продолжала говорить, спокойно и деловито, вернулся страх. Страх и отравы, которые исчезли, но, наверное, спрятались где-то под кожей. И началось все снова, все эти странные разговоры. Я умоляла Анну и видела, какие усилия она предпринимает, чтобы успокоить меня. Давид молчал, он сидел в кресле-качалке, глядя на окно и дождь. Катастрофа, о которой мне не было ничего известно, осклизлым зверем шевелилась в моих внутренностях.

Ненавязчивая нереальность старого дома была окончательно разрушена. После ухода Анны мы не стали вдаваться в детали того, что предстояло. Но оно существовало в виде прозрачной стены, разделившей нас. Исабель приехала в оговоренное время, она прилагала все силы, чтобы оправдать мои надежды увидеть беззаветно любящую меня дочь. Но на самом деле в ней не было радости, она не находила себе места. И так непохоже на нее: она не останавливалась перед тем, чтобы извлечь выгоду из ситуации. Кроме того, проявляла внезапную агрессивность по отношению к Давиду, которого это, конечно, очень огорчало. Я пыталась говорить с ней, но она сразу же превращалась в малышку, смотревшую на меня с открытым ртом и полными слез глазами — театр высшей пробы. Я никогда не могла определить, где игра, а где настоящее. Не могла и заставить ее говорить о Маркусе. Как-то раз, когда она перестала притворяться и сделалась прежней Исабель, она просто сказала: «Я сама не знаю, и никто не объясняет».

8

Марианн. Наступило время переезжать в город, в чужую квартиру с чужой мебелью и чужими запахами. Мы прилагали героические усилия, чтобы создать хрупкие работающие будни. Прибегали к помощи известных ритуалов, но это мало помогло. Я была свободна от репетиций и играла раз-два в неделю в спектакле, который у нас шел с прошлой осени. Позвонила наш адвокат. Она говорила с Мартином Гольдбергом, ну, ты знаешь, адвокатом Маркуса. К ее удивлению, Гольдберг крайне осторожно предложил Маркусу поделить опеку и сделать попытку примирения. Маркус отказался и отверг любые формы контакта. Поэтому то, что произошло двумя неделями позже, за несколько дней до юридического решения, оказалось весьма неожиданным. Был вторник, около десяти вечера. Мы смотрели телевизор, Исабель уже легла. Да, в десять часов зазвонил телефон, я ответила из кабинета Давида, который продолжал сидеть у телевизора. Это был Маркус. Официальным тоном он извинился за поздний звонок и все такое. Но он не хотел рисковать — мог передумать. Помолчав немного, он совершенно спокойно и деловито сказал, что устал от нашего конфликта и хочет обсудить возможность выхода из этой ситуации. Ради Исабель. Я подумала, что он пьян (ни по голосу Маркуса, ни по его виду никогда нельзя было определить, выпил он или нет). Словно угадав мои мысли, он заметил, что он трезв и что нашел «выход, который мог бы лечь в основу взаимопонимания». Именно так и сказал: «основу для взаимопонимания», весьма странное выражение для Маркуса. Я не нашла ничего лучшего, кроме как рассыпаться в благодарностях. Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы не заплакать. Происходящее казалось нереальным: спокойный знакомый голос и вдруг шутовская нотка — черт, да ты сконфужена. Я поинтересовалась, как мы поступим. Он помолчал, словно бы раздумывая. Потом сказал, что хочет встретиться со мной, непременно наедине. Завтра в семь вечера, подойдет? Я буду ждать тебя у подъезда. В машине, мы немного покатаемся. Или зайдем куда-нибудь, где можно спокойно поговорить, или поедем домой, на Лидингё —

ты сама решишь, мы сымпровизируем. Я, не раздумывая, согласилась. Да, да, да. Отлично, Маркус, мы должны встретиться с глазу на глаз, само собой. «Вот и договорились», — произнес Маркус, официальности как не бывало. — Какое облегчение раз и навсегда разделаться с этим кошмаром. И Исабель ведь важнее всего. В этом у нас разногласий нет». И тут он внезапно пожелал мне «спокойной ночи» и повесил трубку, не дожидаясь моего ответа. Стоя у письменного стола, я смотрела в окно, на улице шел дождь со снегом, где-то в глубине дома играли на рояле. Наконец я пошла к Давиду, выключила телевизор и, встав прямо перед ним, рассказала о разговоре. Дело кончилось чудовищным взрывом. Мне несколько раз (довольно редко) приходилось присутствовать при приступах бешенства, случавшихся с Давидом, иногда я была их причиной, иногда я их просто наблюдала. Они возникают вдруг, из ниоткуда, и выходят за всякие разумные границы. Человек, которого, как я считаю, я хорошо знаю, на моих глазах превращается в сумасшедшего или в... черт, не подберу слова, в любом случае это страшно. Он запретил мне встречаться с Маркусом наедине. Я возмущенно ответила, что он вообще не имеет права что-нибудь мне запрещать.

СЦЕНА:

Марианн. Ты не имеешь права мне что-нибудь запрещать.

Давид. Знай, если ты пойдешь на встречу с Маркусом, это конец.

Пусть у тебя не будет никаких иллюзий.

Марианн. Значит, конец. Я достаточно намучилась. Сейчас наметилась возможность разрешить ситуацию, а ты собираешься воспрепятствовать этому. И все только по причине твоей идиотской ревности.

Давид. Ты не понимаешь, что рискуешь? По-моему, ты ненормальная, соглашаешься встретиться с Маркусом с глазу на глаз! — черт побери, как тебе могло такое прийти в голову.

Марианн. Маркус говорил дружелюбно и примирительно, может, он тоже устал. Не исключено, что какой-нибудь разумный человек сумел его убедить.

Давид. Называй меня ревнивцем или кем хочешь. Но я уверен, что цель Маркуса...

Марианн. Отомстить? И каким же образом? Ты, черт побери, настолько наивен, что я не понимаю, как ты вообще способен общаться с людьми. Я жутко устала от твоих заморочек. Почему ты не можешь хоть раз в жизни принять факт таким, каков он есть: Маркус уразумел, что Исабель плохо, он не собирается разрушать больше того, что уже успели разрушить мы с тобой. Поэтому он хочет разрешить конфликт. Попытайся понять — Маркус начисто лишен коварства. Неужели ты думаешь, будто Маркус только и делает, что вынашивает планы мести? Это не Маркус, ему плохо так же, как нам с тобой, как Исабель. Вполне возможно, что Маркус намерен причинить мне боль, отобрав Исабель. Но ведь он готов пожертвовать своей международной карьерой. А она очень многое для него значит. И ты, и я это знаем. Вот как все просто, Давид.

Давид. А его многомесячное молчание, оно не считается? Его словно ветром сдуло. А твои мучения, страх и унижения? Значит, все то, через что мы прошли, вдруг перестало считаться? И только потому, что он в порыве сентиментального благодушия утверждает, будто нашел выход. Почему он не может выдать из себя этот выход по телефону?

Марианн. Мне кажется совершенно естественным, что он хочет встретиться со мной без присутствия адвокатов — и без твоего присутствия. Мы с ним все-таки прожили вместе одиннадцать лет. И я хорошо его знаю.

Давид. Ты не знаешь сегодняшнего Маркуса и понятия не имеешь, какие цели он преследует. Твое внезапное доверие абсурдно. К человеку, который проявил столько ненависти и так унизил тебя — просто вывалял в дерьме.

Марианн. А как мы унизили его? Ты задумывался об этом — как мы его унизили?

Давид. Задумывался. И думаю сейчас. По-моему, ничего хорошего от него нам ждать не приходится. Черт побери, Марианн! Неужели ты не видишь, что этот человек смертельно опасен. Ты понятия не имеешь... *(Замолкает.)*

Марианн. У меня есть предложение.

Давид. Какое еще предложение?

Марианн. Мы позвоним адвокату.

Давид. Какому еще адвокату?

Марианн. Анне Берг, разумеется. Который час? Полдвенадцатого. Поздновато?

Давид. Все равно позвони. Может, она что-нибудь умное скажет. У тебя есть ее номер?

Марианн. Я записала его в телефонную книжку. Нет, здесь только рабочий.

Давид. Но она же должна быть в каталоге?

Марианн. В каталоге, каталоге. Вот — Анна Берг, адвокат, номер 663 35 55. Пожалуйста. Ты будешь звонить или я? У нее, вероятно, автоответчик. Так что нам все равно не...

Давид. Ясное дело, звонить будешь ты.

Марианн. Хорошо, я звоню. 663 35 55. Нет, она не отвечает, включен, конечно же, автоответчик. В такое-то время.

Анна (голос). Я не могу сейчас ответить, но оставьте мне сообщение, и я перезвоню. А вообще меня можно застать в офисе 15 29 32 (*повторяет*) в будние дни, кроме пятницы, с десяти до шестнадцати.

Марианн. Это Марианн. У меня важный вопрос...

Анна (собственной персоной). Алло, это ты? Я была в ванной и услышала твой голос. Как дела?

Марианн. Извини, что звоню так поздно.

Анна. Ничего страшного, я еще не легла.

Марианн. Мы тут с Давидом бурно обсуждаем кое-что, о чем договорились с... Мы хотим, чтобы ты нам дала совет. Как лучше поступить.

Анна. Так. Ну, давай, излагай.

Марианн. Маркус дал о себе знать, он просит о встрече. Но с глазу на глаз. Ну, ты понимаешь.

Анна. Он сказал, чего хочет?

Марианн. Сказал только, что у него есть предложение насчет опеки. Говорил миролюбиво. Мы ведь с ним целую вечность не разговаривали.

Анна. Но что-нибудь конкретное сказал?

Марианн. Нет, ничего конкретного. Но мне показалось, что ему хочется все это дело...

Анна (прерывает). ...и что ты ответила?

Марианн. Ответила, естественно, что охотно встречусь с ним, и как можно скорее. Завтра вечером.

Анна. И где вы встречаетесь?

Марианн. Он заедет за мной, а потом... он сказал, что мне решать.

Анна. Что говорит Давид?

Марианн. Давид в ярости. Он запрещает. Я сказала ему, что он не имеет права ничего мне запрещать. И мы зашли в тупик. И решили позвонить тебе.

Анна. Значит, ты хочешь совета?

Марианн. Да. Я была бы, *мы* оба были бы очень благодарны.

Анна. Так вот, в подобного рода случаях существует железное правило. Я не устаю повторять его. И сейчас делаю то же самое: любой опытный адвокат, занимающийся делами о разводах, не советует своим клиенткам встречаться с обиженными мужьями... наедине. Это слишком рискованно и может привести к непоправимым последствиям. Итак, ни за что *наедине*.

Марианн (после паузы). ...но я уже обещала.

Анна. Я могу позвонить Маркусу или его адвокату и отменить встречу, ну, если тебе самой неприятно. Могу сказать, что это я тебе отсоветовала.

Марианн. Господи, это же смешно. Я *знаю* Маркуса.

Анна. Лучше скажи — *знала*.

Марианн. Ты сильно рассердишься, если я не последую твоему совету?

Анна. Погоди. Нет, я не рассержусь. Но, по моему мнению, ты поступаешь неумно. И рискованно. Кроме того, у тебя ведь есть Давид.

Марианн. В первую очередь у меня есть Исабель.

Анна. Да, да. Решай сама, я могу только советовать. Позвонишь мне сразу же? Хочу услышать твой отчет.

Марианн. Конечно, позвоню. Спокойной ночи, Анна.

Анна. Спокойной ночи, Марианн. Постарайтесь с Давидом не поубивать друг друга. Если ты не последуешь моему совету. Думаю, ты так и сделаешь. Кстати, передай привет Давиду. Он ведь где-то поблизости. Спокойной ночи.

Марианн. Да, он здесь. Тоже передает привет. Спокойной ночи. И спасибо. (*Кладет трубку.*) Я не могу последовать ее совету.

9

Марианн. Следующий день был средой. Долгая мягкая осень неожиданно сменилась промозглой погодой с туманами, снег чередовался с дождем. Утром после нашей бессонной ночи Давид заявил, что его не будет весь день, а ночевать он останется в своей квартире (последний раз он там был несколько месяцев назад). Мне понравился его план. Он позволит нам избежать лишних тренировок. Хотя враждебности между нами и не осталось, но на душе было тяжело. Давид даже заставил себя — как мило с его стороны — попросить прощения за грубость — и — да. Когда он уходил в театр, мы попрощались, сказали, что будем звонить и все такое, никакого надрыва, скорее наоборот. Я пытаюсь вспомнить, что я чувствовала в тот день. Но помню лишь, что была у оптика, примеряла новые очки. Естественно, звонила мама, она звонит практически каждый день, так что я отношусь к этому стоически. Я ей ничего не сказала о предстоящей встрече с Маркусом. Она до сих пор страшно переживала из-за своих несчастных свидетельских показаний, но мы говорили в основном о том, что я обещала на воскресенье достать билеты в детский театр для нее и Исабель. Нет, не помню, как я себя чувствовала. Да, немножко забавно: я долго раздумывала, что мне надеть. Маркус всегда проявлял большой интерес к моим нарядам, у него хороший вкус. Я перебрала несколько вариантов, поскольку мы не определили формат нашей встречи. Наконец я, как мне показалось, нашла более или менее удовлетворительное решение и прилегла на кровать с книжкой, но, по-моему, не понимала, что читала. Очевидно, я находилась в большом напряжении, да, это точно. Без десяти семь я выглянула в окно. Машина Маркуса уже была там. В ту минуту, когда я уже открывала дверь, мне срочно понадобилось помочиться. Я взглянула на себя в зеркало в ванной и отметила, что, несмотря на макияж, выгляжу ужасно. Да, просто кошмарно. Маркус вышел из машины, похоже, он был рад меня видеть, мы неуклюже обнялись. Он распахнул дверцу, и вот мы сидим вместе в машине после бесконечных месяцев молчания. Маркус предложил прокатиться в сторону парка Лиль-Янскуген и по дороге обсудить, где мы

проведем вечер. У меня испортилось настроение, без особых причин, не знаю уж почему. Пока все шло гладко, без напряжения, было даже приятно. Маркус рассказал о новой пластинке с ораторией Арво Пярта и поинтересовался, не может ли он мне ее подарить. Я поблагодарила с чуть преувеличенной радостью, поскольку думала о том, как отреагирует на подобный подарок Давид. Мы говорили, естественно, об Исабель, но не о связанных с ней осложнениях. Пока мы разговаривали, Маркус доехал до Фискарторпа. Теперь вокруг царил темнота, уличного освещения не было. Маркус свернул на боковую дорогу и остановился, не выключая мотора, лишь поставил машину на ручной тормоз. Включил лампочку над водительским сиденьем и повернулся ко мне: «Может, ты хочешь узнать о моем предложении, прежде чем мы двинемся дальше?» Конечно, я этого очень хотела. И в ту же секунду я поняла, что этот человек, сидящий рядом со мной человек, которого зовут Маркус, совершенно чужой человек, явно намеренный причинить мне вред. Он говорил медленно, ровно, чуть улыбаясь. Я не видела его глаз, слабый свет бросал на них тень: «Если ты позволишь мне тебя трахнуть, получишь опеку». Я полетела куда-то вниз, внутри все перевернулось, я лишилась дара речи. Он отвернулся, выключил двигатель, повисла тишина: «Мы можем поехать ко мне домой, или взять номер в какой-нибудь подходящей гостинице, или прямо здесь, на заднем сиденье, мы с тобой такое проделывали. Ведь так?» Голос был начисто лишен интонаций. «А разве я могу положиться на то, что ты сдержишь обещание?» — выдавила я наконец. «Разумеется, не можешь, но почему бы не рискнуть? Ты платишь недорого». «Я беременна, Маркус». Он не ответил, глубоко вздохнул и промолчал. *(Долгое молчание.)*

Я вернулась домой в половине второго. Силья оставила в прихожей записку: Исабель ночует у нее, потому что вечер выдался не самый спокойный. Исабель плакала, но не пожелала, или не могла, сказать почему. Я прошла в гостиную, зажгла бра возле дивана, налила себе бокал вина и закурила. И застыла как изваяние, у меня не осталось ни мыслей, ни желания что-то предпринять. Если у меня и были какие-то мысли, то они выражались короткими словами. Например:

«отказ». В полдесятого у меня в театре был урок дикции. Промелькнуло слово «душ». И еще всплыли два слова, точно напечатанные на книжной странице. «Жизненная катастрофа». Это Георг Брандес о «Короле Лире». Драма повествует о жизненной катастрофе. И тут открылась дверь спальни, и на диван рядом со мной сел Давид. Он был в пальто, лицо серое. Прошло немало времени, прежде чем были произнесены первые слова.

СЦЕНА:

Марианн. Разве ты не собирался ночевать у себя?

Давид. Собирался, но где-то ближе к одиннадцати начал волноваться и пришел сюда. Стоял у окна и смотрел на улицу. Часа два. Вы приехали в половине первого. А потом целый час сидели в машине.

Марианн. Разговор получился долгим.

Давид. Ты довольна результатом?

Марианн. Маркус обещал отдать мне опеку. Безо всяких условий. Наконец-то наступит мир.

Давид (после паузы). Это хорошо.

Марианн. Да, гора с плеч.

Давид. Можно даже сказать, что *слишком* хорошо.

Марианн (устало). Не понимаю, о чем ты.

Давид. Ты была у Маркуса дома?

Марианн. Да, я была у Маркуса дома.

Давид. Никаких сложностей?

Марианн. Сложностей? Обсудив практические вопросы, мы поговорили и о наших нынешних отношениях. После столь долгого молчания это показалось нам вполне естественным.

Давид. А потом?

Марианн. Потом? Я не знаю, что ты имеешь в виду. Теперь, после того как наши проблемы разрешились, он может возобновить контакты с Детройтом. Ему предлагали руководство, но он отказался.

Давид. И больше ничего?

Марианн. Он упомянул про какую-то подругу. Но коротко. По-моему, она замужем.

Давид. Значит, они не живут вместе?

Марианн. Очевидно, нет.

Давид. Налью себе вина.

Марианн. Возьми мой бокал. Я больше не буду. *(Он доликает бокал доверху, рука дрожит.)*

Давид. Устала?

Марианн (чуть не плача). Ужасно.

Давид. В семь вечера вы прямоком отправились домой к Маркусу. И пробыли там до двенадцати. А потом сидели в машине у подъезда и говорили. До половины второго?

Марианн. Сначала мы поехали в Лиль-Янскуген. Мы оба нервничали. И решили, что надо успокоиться. Ничего странного в этом нет. Кстати, что это еще за допрос, черт возьми? Я не спала с Маркусом, если это то, что тебя интересует.

Давид. У меня нет никаких подозрений, Марианн. Но, по правде говоря, меня обуял страх.

Марианн. Я понимаю, мой беденький. А теперь я ужасно устала. Если хочешь, продолжим разговор завтра. Я честно отвечаю на все твои вопросы, прости, что была груба. *(Пытается поцеловать Давида, но тот уклоняется.)*

Давид. Еще минутку.

Марианн. Как скажешь.

Давид. Хочу попросить тебя кое о чем.

Марианн. Это уже серьезно.

Давид. Скорее смешно.

Марианн. А завтра нельзя?

Давид. Сними трусы.

Марианн. (молчит).

Давид. Я сказал, снимите трусы.

Марианн. Ты ненормальный.

Давид. Хочу взглянуть, нет ли у тебя на трусах следов спермы. Дело в том, что, по-моему, ты врешь по одному существенному вопросу. Думаю, ты спала с Маркусом. Скажи правду, и не потребуется никаких доказательств.

Марианн (молчит).

Давид (молчит).

Марианн. Я спала с Маркусом. Он сказал, что если я пересплю с ним, то получу опеку.

Давид. И где же это произошло?

Марианн. В машине. Маркус предложил поехать к нему. Но мне хотелось закончить все побыстрее. Мы были на заднем сидении. Я сняла трусы, расстегнула блузку и задрала вверх лиф-

чик. И села на него. Он был возбужден, но все медлил и медлил, укусил мою грудь, у меня осталась отметина, желаешь посмотреть? Потом велел мне отсосать, но кончить не мог. Распахнул дверцу, вытолкал меня наружу, перевернул на спину и распластался на мне и, наконец, достиг оргазма. Мы оделись и поехали к нему, где выпили несколько бокалов вина. Он сказал, что нам надо раздеться догола. Что мы и сделали, после чего совокупление происходило на полу. Он вошел в меня сзади. Я все время очень боялась, что он что-нибудь мне серьезно повредит. Потом ему пришлось в голову заставить меня достичь оргазма, я пыталась сопротивляться, но поскольку он настаивал, я решила, что это не имеет значения. Я испытала оргазм, сама того не желая. Я собралась вызвать такси, но Маркус захотел, чтобы мы легли в постель и полежали, обнявшись, — как прежде. Так мы и поступили. Затем он отвез меня домой, но я отказалась выходить из машины, потому что увидела, что ты стоишь у окна. Я попросила Маркуса поездить немного вокруг квартала, но Маркус посчитал, что ты можешь и подождать. Тебе будет полезно видеть, как мы сидим в машине и дружески беседуем. Я осталась сидеть, хотя все понимала. На прощание он меня поцеловал, сказав, что это хорошее окончание длительной вражды.

СЦЕНА:

(Давид крупным планом. Спустя несколько лет.)

Давид. Поскольку Марианн больше нет, я никогда не смогу искупить свою вину за ту ночь. Когда я — столько времени спустя — вспоминаю, как я вел себя, меня начинает терзать стыд. Другого слова не подобрать. Если говорить обо мне, это было жуткое время. Я был измотан, на душе камень. Это не попытка оправдаться. Возможно, это лишь частичка в объяснении, почему я... (*Пауза*). Той ночью разверзлась преисподняя. И виноват в этом я. Теперь я понимаю, что виноват я: Марианн приходит домой сама не своя, испытыв глубокое унижение. У нее хватает мужества рассказать о том, что случилось. В подробностях. Она не плачет. Но она объята разрушительным страхом. Она не умоляет, не просит прощения. Может быть, она надея-

лась, что я поведу себя, как взрослый человек. Не знаю, на что она надеялась, что думала. Теперь, когда ее нет, я понимаю — слишком поздно, — что не она изменила мне, а я изменил ей самым непотребным образом. Я предал ее в важнейший момент нашей совместной жизни. Она только произнесла: «Пожалуйста, постарайся понять. Пожалуйста, прояви чуточку доброты, мне так больно». Но я потерял рассудок. Всю ночь я яростно допрашивал ее, и этот допрос, — когда я об этом размышляю, а размышляю я об этом очень часто, — прокручивается у меня в мозгу, раз за разом, словно кадры фильма, с поразительной четкостью и сопровождается репликами, моими репликами. Я продолжал час за часом, это была своего рода одержимость. Одно замечание: я страдаю тем, что называется запоздалой ревностью. Во время наших ярко эротических походов в Париже я расспросил Марианн, как бы в шутку, о ее прежнем опыте. Она доверчиво угодила в ловушку, была, кажется, даже тронута моим интересом. И рассказала — довольно детально — о своих отношениях с Маркусом. Как в определенных обстоятельствах она испытала такие сильные ощущения, какие ей не приходилось испытывать никогда — ни до, ни после. Мне это глубоко запало в душу, превратившись в небольшую, но воспаленную рану. В ту ночь, ночь катастрофы, рана открылась, я ничего не мог с этим поделать. Я вижу себя, вижу Марианн, ее лицо. Я не кричал, не бил ее. Я был спокоен, почти вежлив, но жестко настаивал, чтобы она изложила все подробности: «Ты чувствовала желание, наслаждалась вашими упражнениями, может, у вас с Маркусом все прошло как раньше, о чем ты так откровенно рассказывала в Париже? Ты не думала о ребенке, нашем ребенке, которого вы осквернили, ты осквернила? Ты отбросила всякие угрызения совести? Или муки совести стали частью твоего наслаждения? Вы договорились встретиться снова? Может, для тебя самое правильное иметь нескольких любовников одновременно? Может, это подстегивает твою готовность? Может, сейчас, в эту минуту, тебе хочется переспать со мной? Почему бы не попробовать. Это было бы возбуждающе, правда? Я имею в виду, в качестве эксперимента по высшей теологии». Вот так я и продолжал,

час за часом, помню, Марианн молчала. Помню ее лицо. Она смотрела на меня не отрываясь, ни разу не отвела взгляда, не плакала, только тихо произнесла: «Пожалуйста, хватит. Ты ничего не понимаешь? Пожалуйста, прояви чуточку доброты. Позволь мне пойти спать, я разваливаюсь на куски. Не говори такие вещи о ребенке, это опасно, может повредить ему. Пожалуйста, Давид». Но я продолжал. Продолжал ее мучить. От *этой вины*, этого понимания мне никогда не уйти. Самое ужасное — оглядываясь назад, — заключалось в том, что Марианн не защищалась. Только смотрела на меня. Неотрывно, — наверное, она ненавидела меня. Всю жизнь ей пришлось носить в себе память о моем голосе, моих словах, моем лице. Она ничего не забывала. Да и как бы она смогла это сделать? Она осознала, что я предал ее в тот момент, когда она нуждалась во мне больше всего. Но она ни разу не упрекнула меня, ни разу не показала признаков горечи. Но ненавидела — (*Молчание*). Как бы мне хотелось исповедаться. Признаться в предательстве, чтобы меня приговорили к наказанию, которое бы перечеркнуло мою вину. Но наказание, пожалуй, и так наступило, и наказание пожизненное. И избежать его я не сумею, потому что Марианн нет. (*Крупный план заканчивается.*)

КОММЕНТАРИЙ:

Тут необходимо одно уточнение. Во время монолога Давида Марианн находится здесь, в моем кабинете. Она по-прежнему сидит в кресле у окна, вид равнодушный, незаинтересованный. Давид ее не видит, это совершенно точно. Он не видит Марианн. Ту Марианн, которую я выгасил из памяти и которая лишь частично совпадает с Марианн, сидящей в кресле у окна и любезно согласившейся временно сыграть эту роль. Чтобы я помнил.

Марианн. По какой-то причине, забыла по какой, слушания по делу о разводе два раза откладывали, и состоялись они лишь одиннадцатого ноября. Маркус, естественно, пренебрег нашей договоренностью (неужели я ожидала от него чего-то другого?). У меня тоже не было сил напоминать ему, это так унижительно. Мы с Давидом о случившемся не говорили. Общались привычно и осмотрительно. Мы пыта-

лись склеить нашу совместную жизнь. Но радость улетучилась. Наша напасть подразумевала проявление солидарности, мы горевали о чем-то утраченном, возникла дружба до гроба. Мы старались не ранить друг друга, некоторые темы для разговоров были под запретом. Не спросив Давида, я сделала аборт. Он на время уехал, взялся задокументировать строительство больницы в каком-то городишке. Задание противнейшее, по его мнению, но пришлось согласиться из финансовых соображений. Когда он вернулся, я сообщила ему про аборт. Он помолчал, а потом лишь произнес: «Бедная Марианн». Я тут же расплакалась, раньше я не плакала. После той ночи я решилась на аборт, чтобы освободиться от чего-то страшного и опасного, как рак. Он обнял меня, я ответила тем же. «Теперь мы в настоящем дерьме», — сказал он. И мы еще крепче прижались друг к другу. И все же, по-моему, мы испытали облегчение. И вот начались слушания. Наши отношения разбирались по косточкам. Маркус был молчалив и бледен, мы вежливо поздоровались и столь же вежливо попрощались. Наконец, огласили решение: я получила полную опеку. Кошмар вроде бы был уже позади, а он все не кончался, давал о себе знать, хоть и смутно. Мы договорились, что Маркус сможет проводить с Исабель столько времени, сколько захочет. Но он не звонил несколько месяцев. Исабель все чаще смущенно спрашивала, в отъезде ли Маркус или же он просто не хочет с ней встречаться. Исабель тревожила меня. Нет, внешне все было в порядке. Она прилежно училась, казалось, что в ее душе царит гармония. Она вновь начала общаться со своими друзьями. Но была совершенно недоступна. Я связалась с детским психологом, который предложил поговорить с Исабель, но та наотрез отказалась. Она заверила меня, что чувствует себя отлично и ей не хочется говорить с чужим человеком. Лучше завести собаку. И мы купили для Исабель щенка. В конце концов, я позвонила Маркусу. Он вежливо, с легким смущением оправдался тем, что в последнее время был не в лучшей форме. Но теперь он обязательно встретится с Исабель. И встречи эти будут регулярными. Он выразил надежду, что у нас все хорошо, а у него самого страшно много работы. Работа для него — это «лекарство», как он выразился. Мы договори-

лись, что Силья приведет Исабель домой к Маркусу к обеду. А потом они сходят в кино. Это была пятница.

СЦЕНА:

Маркус и Исабель обедают.

Исабель: За бабушкиной дачей есть луг. Там пасутся овцы. Это не бабушкины овцы. Но она позволила соседу-крестьянину пасти на лугу своих овец. Мне хотелось погладить какую-нибудь овечку, но все сказали, что этого делать нельзя. Они боятся незнакомых людей. Я взяла кусочек черствого хлеба и подошла сперва к одной овце, потом к другой, а они уходили, как только я к ним приближалась. Как бы осторожно я ни шла, они все равно уходили.

Маркус. И тебе, наверное, надоело?

Исабель. Нет, не надоело, потому что я так решила. И я подумала, что если не буду бегать за овцами, а просто сяду на камень с куском хлеба в руке и буду сидеть совершенно неподвижно, может, им станет любопытно, и они подойдут, чтобы выяснить, кто это тут сидит.

Маркус. И ты села на камень и принялась ждать?

Исабель. Я просидела не двигаясь несколько часов. Вышла бабушка, позвала ужинать. А я ответила, что мне некогда, и бабушка оставила меня в покое, ушла в дом и поужинала с Фабианом и тетей Эльсой.

Маркус. И что было потом?

Исабель. Это была большущая старая овца. Вся такая патлатая, с двумя ягнятами. Сперва она долго глядела на меня. А потом быстро подбежала, ткнула меня носом вот сюда (*показывает на грудь*), осторожненько взяла хлеб и принялась жевать. Я не шевелилась, мы только иногда поглядывали друг на друга, и ягнята тоже. И тут я протянула руку и положила ее на голову овцы, она постояла и ушла.

Маркус. Она тебя узнала на следующий день?

Исабель. Нет, на следующий день все было как прежде. Она разрешала мне приблизиться, но как только я протягивала руку, чтобы погладить ее, она уходила. И мне надоело. Бабушка сказала, что это из-за того, что от меня пахнет собакой.

Маркус. Послушай, Исабель, я хотел поговорить с тобой.

Исабель. Разве мы не пойдём в кино?

Маркус. Сходим в другой раз.

Исабель. Можно и так, но было бы здорово сходить сегодня. Неизвестно, когда у тебя будет время.

Маркус. Мы пойдём в этот же кинотеатр, на этот же фильм завтра вечером. Даже лучше — завтра суббота.

Исабель. Только не забудь, а то с тобой такое бывает.

Маркус. Обещаю, не забуду.

Исабель. И что же это за такая важная вещь, из-за которой мы не можем пойти в кино сегодня, хотя ты *обещал*?

Маркус. Ты должна знать, Исабель, как обстоят дела. Ты уже достаточно взрослая, чтобы понять.

Исабель. А может, я не хочу этого слышать.

Маркус. Мы с тобой всегда хорошо разговаривали.

Исабель. Пожалуй.

Маркус. Обязан предупредить тебя — то, что я собираюсь сказать, причинит боль. Но так и должно быть. Как у доктора, сначала бывает больно, а потом ты выздоравливаешь. Понимаешь, что я имею в виду?

Исабель. Но почему это должно причинить боль?

Маркус. Дело в том, что я больше не твой папа. Закон решил, что я больше не твой папа, а закону надо подчиняться и терпеть. Мы не можем быть вместе, как того пожелаем. Теперь другие решают, когда мы с тобой можем встречаться. Понимаешь?

Исабель. А кто решает?

Маркус. Твоя мама. И Давид, возможно, точно не знаю. Другие люди. Я должен попросить разрешения сходить с тобой в кино завтра вечером.

Исабель. Мне кажется, это странно.

Маркус. Это кажется странным, потому что это и *есть* странно. Особенно если учесть, что твоя мама, похоже, не проявляет — как бы это сказать — интереса.

Исабель. Какого интереса?

Маркус. Ну, ты знаешь, что она уехала в Париж с Давидом и оставила тебя у бабушки. А ты заболела. Гриппом. Но мама и не подумала вернуться, чтобы поухаживать за своей дочкой. Она предпочла остаться в Париже с Давидом. Потом не следует забывать, что бабушка — она, конечно, добрая и заботливая, — но она уже старая, и у нее не так много сил. Ей

трудно. Это же ясно. Ей трудно ежедневно заботиться о тебе и Фабиане. Кроме того, Силья выходит замуж и уезжает в Финляндию. А я не имею права заботиться о тебе. Так решил закон. И если я все-таки заберу тебя и мы куда-нибудь уедем, меня посадят в тюрьму. Мне все время приходится действовать с оглядкой, чтобы несмотря ни на что иметь право встречаться с тобой. Тебе, разумеется, известно, что мама с Давидом не любят меня. Им невыносимо само мое существование. Поэтому я не могу любить тебя так, как мне бы этого хотелось, иначе мне не позволят вообще встречаться с тобой. Ты, наверное, знаешь, что твоя мама какое-то время носила ребенка. Ты знала?

Исабель. Нет, не знала. *(Ее начинает знобить.)*

Маркус. Да, у мамы был ребенок, а отец ребенка — Давид. Но он не хотел ребенка, а твоей маме был нужен только Давид. И он попросил доктора вынуть ребенка с помощью ножа и щипцов. И ребенок умер. Я все это тебе рассказываю, потому что беспокоюсь за тебя. Ты становишься очень одинокой, Исабель. И ты обнаружишь, как горько быть такой одинокой, какой станешь ты. Проблема в том, что у тебя нет никого, кому бы ты могла доверять. Но самое трудное — не быть любимой. Ничего тяжелее в жизни нет. Я это говорю как бы заранее, чтобы тебе не пришлось узнавать правду постепенно. Лучше, чтобы ты знала, как все обстоит. Понимаешь, Исабель?

Исабель. Не знаю. Думаю, понимаю. *(Ее знобит.)*

КОММЕНТАРИЙ:

Исабель вышла замуж в двадцать три года. Семейная жизнь складывалась удачно, и она забеременела. Через несколько месяцев после родов она впала в тяжелую депрессию, которая вызвала необходимость пребывания в больницах и длительного лечения у психоаналитика. Постепенно начали проявляться контуры ее разговоров с отцом. Описанная выше сцена наверняка никогда не имела места, но она представляет собой воображаемую выжимку из ее встреч с Маркусом. Она была не в состоянии объяснить свои реакции, но смутно припоминала, что ей было страшно. Она инстинктивно чувствовала, что отец лжет, что сознательно хочет причинить ей вред, хотя он беспрерывно уверял ее в своей любви, уверял, что он единственный, кто ее любит.

10

Марианн. Через несколько недель после аборта я вернулась в театр, где мне несколько поспешно дали роль, предназначенную, в общем-то, для актрисы более старшего возраста. Я была благодарна. Долгие дни одиночества не прошли даром, спорадическое общение с Давидом было болезненным и зыбким. Меня мучили периодически возвращавшиеся приступы страха, главным образом за Исабель. Она по-прежнему проявляла дружелюбную неприступность. И вот я вернулась к театральному порядку и ритуалам. Это принесло облегчение. Кроме того, мне по-настоящему нравилась моя роль: предводительница хора в «Вакханках» Еврипида. Хор репетировал интенсивно, поскольку мы и пели, и танцевали. Когда мы работали самостоятельно с дирижером или хореографом, нам предоставлялся просторный зал на верхнем этаже, под крышей театра. В тот день было сумрачно, стелился туман. Я помню свою реплику; она подходила как нельзя лучше: «Счастлив ты, если в бурю в гавань вошел и спасся. Счастлив, и труд окончив. Властью и деньгами разнятся смертные, но всем в сердце положена надежд сила безмерная. Одни счастьем венчаются, другим нет исполнения. Кто день за днем без печали живет, тот, по-моему, счастлив» *. Внезапно погас рабочий свет. В большие окна сочились свинцовые сумерки. Наш ассистент позвонила на вахту узнать, в чем дело. Ей ответили, что в темноте оказался не только наш театр, но и целые кварталы города. Поскольку мы по-прежнему читали роли по тетрадкам, продолжать репетицию было нельзя. Мы решили вместе дожидаться, когда вновь включат электричество. Было часа два дня. Мы уселись на черный бархатный ковер. Зажгли найденную кем-то стеариновую свечу и поставили ее в центр нашего кружка. Дирижер предложил порепетировать песни, которые мы уже выучили наизусть. Мы начали петь, прервались, начали снова. За окном падал дождь со снегом, сумерки сгущались, было ощущение безвременья и волшебства: тринадцать женщин разного возраста, одетые в длинные черные репетиционные юбки, вплотную

* Перевод И. Анненского.

друг к другу. И песня. Общность, близость, внимание. Я помню, что, сидя там, вместе с моими товарищами, я испытывала удовольствие. Я миновала жизненный кризис, чуть ли не катастрофу, из которой выбралась почти целой и невредимой, может, даже немного умней. И сейчас мне было хорошо сидеть здесь на полу вместе с друзьями. Петь, смотреть на неподвижное пламя свечи. Вдруг в дальнем конце погруженной в сумрак комнаты открылась дверь. Это была одна из телефонисток. Она на цыпочках подошла к нашему кружку и наклонилась ко мне. Сразу же испугавшись, я спросила, не случилось ли чего с Исабель, но она покачала головой: нет, нет, но ей необходимо срочно со мной поговорить. Я извинилась, и мы вышли. В холле слуховое окошко занесло снегом. На столике стоял зажженный карманный фонарь. Телефонистка немедленно изложила суть дела. Маркус совершил попытку самоубийства. Девушка протянула мне бумажку, на которой были записаны номер телефона отделения и имя дежурной старшей сестры. Через полчаса я находилась в отделении семьдесят шесть (отделение реанимации). Ко мне тут же подошла сестра Элин и представилась. Деловито и сжато она рассказала, что случилось: Маркус поступил к ним в одиннадцать утра. Он был без сознания, все усилия привести его в чувство ни к чему не привели. По всей видимости, он принял снотворное еще в субботу вечером. Сестра Элин спросила, не хочу ли я поговорить с врачом, он появится с минуты на минуту. Я отказалась говорить с врачом. Сестра Элин упомянула, что в «скорой» Маркуса сопровождала фру Данилиус. Сейчас она ушла, но обещала вернуться позднее. Я попросила разрешения заглянуть к Маркусу на пару минут. Сестра Элин колебалась, на какое-то мгновение ситуация стала даже забавной. Мне пришлось объяснить, что я — бывшая жена Маркуса. Извинившись, она открыла дверь. Палата крошечная, было уже часа четыре, совсем стемнело. Ночник повернут к стене, снег залеплял окно. Сестра Элин вышла, закрыв за собой дверь. Я никогда не видела — я никогда не испытывала подобной робости, я не решалась посмотреть на его лицо. Я смотрела на его руки. Но потом все-таки решилась. Лицо съежилось, рот полуоткрыт, дыхание редкое. Волосы совсем седые, более седые,

чем я помнила, недельная щетина. Губы потресканы. То была близость Смерти. (*Молчание.*) Одиночество. Чуждость. Да. И я ушла, оцепеневшая, ничего не чувствуя. Весь путь домой я проделала пешком, добралась за час. Позвонила сестре Элин. Маркус уже умер. Я зашла к Исабель, которая, сидя за письменным столом, учила уроки. И сообщила ей, что Маркус умер. Она не пошевелилась, только положила руки на учебник. Она сглотнула, сглотнула еще раз и еще раз, после чего выключила настольную лампу, но не произнесла ни слова. Я посидела немного на ее кровати, протянула было руку, чтобы дотронуться до нее, но она увернулась. Тебе, наверное, хочется побыть одной, спросила я, и она кивнула. (*Долгое молчание.*)

Через несколько недель после похорон я разыскала фру Данелиус, что-то подсказало мне, что это надо сделать. Я вспомнила, что сестра Элин упомянула некую фру Данелиус, которая сопровождала Маркуса в «скорой». Я позвонила ей и предложила встретиться, если она не возражает. Она пригласила меня к себе домой, так, наверное, будет лучше. Она жила одна в просторной вилле. Дом стоял в лесу, который спускался к заливу, соседних домов вообще не было видно. Маргарете Данелиус было под пятьдесят. Короткая стрижка, прядки седины в блестящих волосах, красивые правильные черты лица, большие темные глаза, худощавая, высокая, одета неброско. Гостиная заставлена старинной мебелью и увешана дорогими картинами. У окна, выходящего в сад, раскрытый рояль, на пюпитре ноты, рядом полка для нот. Фру Данелиус накрыла стол к вечернему чаю, и мы уселись на красивый, но неудобный диван.

СЦЕНА:

Маргарета. Итак, меня зовут Маргарета. (*Вежливо улыбается.*)

Марианн. А я — Марианн. (*Вежливо улыбается.*)

Маргарета. Как дела у Исабель?

Марианн. По-моему, она неважно себя чувствует. Но сложность в том, что она не желает говорить ни со мной, ни с кем-то еще.

Маргарета. Исабель — весьма необычный человек.

Марианн. Ты знакома с ней?

Маргарета. Виделись мы редко. Но Маркус рассказывал. Она занимала большое место в его жизни.

Марианн. Будет бестактно с моей стороны спросить, откуда ты знаешь Маркуса?

Маргарета. Я его знаю уже двадцать лет. Точнее, в этом году будет двадцать три.

Марианн. Знаешь?

Маргарета. Первые годы мы не так уж хорошо знали друга. Это была, главным образом, страсть, или как это еще назвать.

Марианн. Стало быть, у вас с Маркусом была связь. Вы жили вместе.

Маргарета. Нет, нет. Мы никогда не жили вместе.

Марианн. А ваша связь?

Маргарета. Не слишком регулярная. У Маркуса гастроли и — другие дела. *(Легкая улыбка.)* Я была прочно связана своим большим семейством. Трое детей. Муж — профессор, ученый, он любил большие компании. Да я тоже. Теперь я уже несколько лет как вдова, живу одна в этом чересчур просторном доме. Дети из гнезда вылетели, как говорится. Мне надо бы переехать, да все никак не соберусь. *(Жест, улыбка.)* Вот так.

Марианн. Скажи, пожалуйста, а вы поддерживали отношения во время нашего брака?

Маргарета. Да, поддерживали. Мне кажется, вы с Маркусом... впрочем, нет. Нет.

Марианн. Что ты хотела сказать?

Маргарета. Собственно, ничего.

Марианн. Ты никогда не ревновала?

Маргарета. У меня отсутствует способность ревновать. Да и как бы я могла ревновать Маркуса? Я бы просто с ума сошла. Я же не была единственная, скажем так.

Марианн. Значит, тебе много чего известно обо мне.

Маргарета. Маркус никогда о тебе не рассказывал, а я не спрашивала. Хотя... Когда ты с твоим другом уехали в Париж.

Марианн. Могу представить, сколько ты всего наслушалась.

Маргарета. Не так уж и много. Маркус надеялся, что ваши отношения с Давидом скоро сойдут на нет. И только поняв, что это «безнадежно» — он употребил это слово «безнадежно» он изменился. *(Молчание.)*

Марианн. Изменился?

Маргарета. Потерял покой, стал испытывать ненависть — и страх. (*Смотрит на Марианн, молчание.*)

Марианн. Ты участвовала в радиозаписи квартета Брамса несколько лет назад? Ты переворачивала Маркусу ноты? Помню, я спрашивала себя, что это за красивая женщина сидит рядом с Маркусом. Которая так быстро исчезла.

Маргарета. Я собиралась стать музыкантом, много лет играла на виолончели и, конечно, на рояле (*едва заметный жест*), училась в Академии, но посчитала, что недостаточно талантлива. Так что я бросила учебу и вышла замуж.

Марианн (после паузы). Непостижимо.

Маргарета. Да, непостижимо. (*Молчание.*) Ты хотела поговорить со мной. Что-то важное?

Марианн. Сестра Элин упомянула, что в «скорой» с Маркусом была некая фру Данелиус. Мне стало любопытно, и я разузнала, кто ты и где живешь. Маркус ничего про тебя не говорил.

Маргарета. Знаю. Маркус мог быть как весьма несдержанным на язык, так и очень скрытным. Мы в основном говорили о музыке — и о детях, моих детях и Исабель. Во время наших длительных разлук мы говорили по телефону. По телефону мы становились более откровенными, если ты понимаешь. Откровенными. (*Замолкает, долго смотрит на Марианн, отворачивается.*) По-моему, мы ни разу не солгали друг другу. Да и зачем нам было лгать? Никаких требований, никакой слежки. Но мне и в голову не пришло...

Марианн. Понимаю...

Маргарета. Я мысленно повторяю, раз за разом: я была обязана сообразить. Говорю себе снова и снова: я была обязана сообразить и воспрепятствовать. Меня так... мучает совесть. (*Улыбается.*)

Марианн. Я понимаю, думаю, что понимаю.

Маргарета. Ты спрашивала, как все случилось, — мы встретились в субботу, до полудня. Я забыла свои перчатки. Я знала, что экономка в понедельник выходная, поскольку у Маркуса был концерт в Осло. И решила забрать перчатки, ведь у меня есть ключ. Я взяла, стало быть, перчатки с полки для шляп...

СЦЕНА:

Квартира Маркуса.

Маргарета. Я взяла перчатки и уже собиралась уходить. И тут я увидела, что он сидит в большом кресле, развернутом к окну. Но столе пустая бутылка из-под вина и бокал. Я подошла поближе. И обнаружила на полу две упаковки снотворного, вскрытые. На столе лежало письмо, надписанное его рукой: «тому, кого это касается». Ну, я позвонила в «скорую» и все такое. Маркус был в глубокой коме, но врач рассчитывал, что он выкарабкается. Я подождала какое-то время. А потом пошла домой и прочитала его письмо. Оно у меня, если ты захочешь прочитать, но думаю, он был не в себе, когда писал его. У Маркуса и так-то отвратительный почерк, а это письмо вообще почти невозможно разобрать. Я трудилась несколько дней. Хочешь, прочитаю?

Марианн (тихо кивает).

Маргарета. Начало абсолютно непонятно, но вот здесь (*читает*): «два старых друга, или скорее знакомых, были женаты много лет. И вот они решили уйти из жизни, потому что она была тяжело больна, а он не смог бы без нее справиться. Они разузнали, что для этого нужно: по пятьдесят таблеток на человека, если никто их не побеспокоит. Они приняли таблетки, легли в постель, взялись за руки и умерли вместе. Я хотел, чтобы мы с Исабель сделали то же самое. Я подробно ей объяснил, как мы поступим. Она выразила горячее желание умереть вместе со мной. Мы договорились на утро субботы, она должна была прийти в девять. Я прождал ее несколько часов. Наконец позвонил и спросил, когда она намерена прийти. Она заплакала и сказала, что не придет, ей страшно. Я попытался успокоить ее, заверил, что каждый человек волен передумать и, самое главное, пусть она ни в чем себя не упрекает. Я предложил ей забыть про этот наш план, а вместо этого сходить на неделе на концерт. И еще добавил, что люблю ее больше всех на свете. И что бы ни случилось с ней или со мной, мы соединены нерасторжимыми узами, *навсегда*. По-моему, Исабель немного успокоилась, когда мы закончили разговор. Во всяком случае, она перестала плакать. Да, и тогда я решил действовать в одиночку». (*Маргарета прерывает чтение, молчит.*) Потом здесь уже почти ничего непонятно, почерк совсем неразборчив. Вот тут написано: «я считал, что живу на свободе, и вдруг понял, что я в тюрьме». И еще: «Исабель у меня ото-

брали, и я остался с пустыми руками» (*она переворачивает страницу, что-то написано поперек, на полях*), а вот это я вообще не понимаю: «Собственно говоря, я уже мертв». Без подписи. Только: Так оно есть и так оно будет всегда». (*Молчание.*)

ЭПИЛОГ:

Марианн поднимается с кресла и встает у меня за спиной. Я по-прежнему сижу за письменным столом, больше не вижу ее лица.

Голос. Честно говоря, я не слишком довольна твоей Марианн. Осталось чересчур много вопросов. (*В голосе звучит мягкая досада.*)

Бергман. Моя Марианн? Кстати, как сложилось у Марианн и Давида?

Голос. Сейчас узнаешь. Давиду наконец-то представилась возможность снять фильм. Короткий, практически безбюджетный. Действие происходило на безлюдном острове, в море. Группа уехала и пробыла там два месяца. Давид вернулся домой, загорелый, но с угрызениями совести. Он изменил Марианн с новой (очень новой) актрисой, исполнявшей главную роль. Со своей стороны он считал, что это скоро пройдет, и попросил проявить терпение. И снисходительность.

Бергман. А Марианн?

Голос. Она не проявила ни того, ни другого.

СЦЕНА:

Коридор с двумя дверями.

Марианн (в бешенстве). Убирайся. Ко всем чертям. Больше не желаю тебя видеть. Мне плевать на тебя. Не осталось у меня ни терпения, ни снисходительности, убирайся, я не позволю тебе унижить меня еще раз, *ни единого раза*, слышишь. Я буду жить одна, я не собираюсь мириться с этим. *Убирайся*, я сказала. До чего же здорово будет избавиться от тебя. Наконец. После мерзостей, которые ты натворил. Убирайся немедленно. К чертям собачьим. Забирай свою шлюшку и исчезни!

Марианн резко захлопывает дверь. Давид захлопывает вторую дверь, и его больше нет. Марианн захлебывается в крике.

Голос. Она хрипела целую неделю.

Бергман. А потом?

Голос. Потом они стали закадычными друзьями. Но четко соблюдали дистанцию.

Бергман. Марианн утонула.

Голос. Да, умерла несколько лет назад.

Бергман. Значит, конец.

Голос. Так оно, пожалуй, и бывает. (*Голос лишен интонации.*)

Бергман. Спасибо за помощь.

Голос. Может, еще увидимся? В театре или еще где.

Бергман. Черт его знает. Я перестал строить планы.

Голос. Теперь мне, в любом случае, надо идти.

Бергман. Мне будет одиноко без тебя.

Голос. Спасибо за теплые слова. Спокойной ночи.

Бергман. Спокойной ночи.

Форё, 10 сентября 1997 года

ДЕЛО ДУШИ



ДЕЛО ДУШИ

I

Не хочу просыпаться. Немедленно задерни шторы, солнце светит мне в лицо, у меня раскаливается голова. Который час? Половина одиннадцатого! Анна, почему ты не разбудила меня в четверть одиннадцатого, как мы договаривались? Ты должна научиться пунктуальности.

Нет, спасибо, не желаю слушать никаких оправданий.

Ты очень мила, Анна, но у тебя сложности со временем. Ладно, поправь мне подушки и поставь сюда поднос. Господи, как же болит голова! Придется отложить визит к зубному. Анна, позвони зубному и скажи, что я больна. Не хочу быть занудой, но кофе едва теплый. Сколько раз я тебе повторяла, что кофе должен быть с пылу с жару. Нет, нет, не надо утруждать себя. На кухне всегда масса дел, а фру Хартвиг не успевает позаботиться обо всем.

Анна, не наливай пока ванну! Я, пожалуй, еще поваляюсь в постели часок-другой. Захвати таблетки от головной боли, ты знаешь, где они лежат, слева от стеклянного шкафчика. *Не несишь опрометью*, Анна! Иди спокойно! Необязательно мчаться как на пожар, даже если ты торопишься.

По-моему, я могу принять две таблетки. Боже, какой отвратительный кофе! Дай мне зеркало, Анна. Жутко смотреть на себя в зеркало до того, как почистишь зубы, но я никогда не скрывала горькой правды — того, что мне сорок три.

Слава богу, у меня все зубы в целости и сохранности, хотя вон там, справа, один уже шатается.

Зато взгляд: глупый, тупой, пустой. *Кошмарный* взгляд.

Куда я положила сигареты? Ненавижу курить по утрам, но это единственный способ проснуться. Анна, пожалуйста, дай мне прикурить и придвинь пепельницу, ты видишь, где она стоит. Я в детстве была дурнушкой, моя мать стыдилась меня, сама-то она была красавицей. Школьные годы я провела в монастырском пансионате, а летом жила у бабушки в Брайтоне. Я была уродлива, одинока и часто плакала. И вдруг превратилась в миловидную девушку со множеством поклонников. Я была в смятении! В смятении! Я была все та же, но не та же. Погоди, Анна, сейчас ты увидишь! У меня тут есть моя фотография двадцатилетней давности. Прелестная девушка, правда же? Я играла с мужчинами и презирала их. Нет, сейчас я вру. *Почему я вдруг говорю вещи, которые не соответствуют действительности?*

Я никогда не размышляла о своей внезапной популярности, это точно. О, Анна! Сегодня у меня в груди такая тяжесть. Может, мне больше не хочется жить. Моя проблема — Анна, тебе интересно? Мне вдруг показалось, что... Анна, извини, я не собиралась тебя ни в чем упрекать. Моя проблема заключается в том, что я по рождению художественная натура. Возможно, мне надо было бы стать актрисой, сколько бы я смогла дать своим согражданам. Или художницей.

Мой учитель считал меня весьма одаренной, намного выше среднего уровня. Ну вот, я наконец справилась с этим жутким кофе и хлебом с мармеладом. Анна, забери поднос и зайди к профессору, он, очевидно, сидит в курительной и читает газету. Передай ему, что мне необходимо немедленно поговорить с ним, это очень важно, но ничего страшного, пусть не боится. Иди, Анна. Жалко, что мы не поговорили о тебе, Анна, и о твоих проблемах, я намеревалась это сделать.

Вот что я записала у себя в дневнике:

«Поговорить с Анной о ее возможных сложностях, завтра же рано утром». Но не получилось. Чтобы заниматься проблемами других людей, надо иметь избыток жизненной энергии. Как правило, я обладаю подобной жизненной энергией, но только не этим утром. Поторопись, Анна. Я причешусь сама. Когда я поговорю с мужем, то приму ванну, а потом решу, встану ли я или останусь в постели.

ВИКТОРИЯ (одна)

Где мои тапки? О, какая мука! О, смятение, страх! Чудовищные предполуденные часы. Окончательное *доказательство*! Не плакать! Быть мужественной до конца. Я так все *драматизирую*. Пугаю саму себя. (Стук в дверь.)

Входи, дорогой. О, Альфред, от тебя всегда так хорошо пахнет, какой у тебя красивый галстук. Извини, что ты меня видишь в этом жутком состоянии, но я всю ночь не сомкнула глаз, думала о нас и нашем браке. Ах, Альфред! Ты уже заскучал!

Сейчас мы, конечно, в тысячный раз будем говорить о чувствах Виктории! Вовсе нет. Потерпи, Альфред! Я буду говорить о том, чего мы ни разу не касались, а именно о *наших интимных любовных отношениях*.

У меня уже щеки горят, и я страшно смущена, но тем не менее считаю, что мы обязаны поговорить об этом Мучительном обстоятельстве, которое так глубоко затрагивает нас обоих и которое не должно оставаться только слепым, ночным делом.

Я сяду в кресло за твоей спиной, чтобы ты меня не видел.

Я написала несколько вопросов и хочу, чтобы ты ответил на них как можно более искренно. Нет, не уходи, Альфред, ты должен быть в университете лишь через час, я узнавала.

Читаю первый вопрос, он совсем не сложный и на него легко ответить. Итак:

Первый вопрос: Почему ты изменяешь мне с другими женщинами? На этот вопрос я вообще-то и сама могу ответить. Ты ищешь в других то, что не находишь в собственной жене, или бежишь от чего-то в себе самом, что тебе невыносимо.

Второй вопрос (он очень нескромный, но, несмотря на это, а может, именно поэтому на него нужно ответить со всей искренностью):

Почему ты не удовлетворяешь свою жену рукой?

Почему ты отдергиваешь руку, когда я пытаюсь положить ее на мое чрево?

Почему ты злишься на меня, когда я прошу тебя помочь мне?

Ты знаешь, я на все готова для тебя, ты знаешь, я готова на самые непристойные поступки, только чтобы доставить тебе радость, а ты даже не даешь мне свою руку на несколько минут. Ты так же сдержан — не могу подобрать другого слова — с другими женщинами, или это только я обречена на одиночество — и тоску?

Почему ты не отвечаешь на мои вопросы, почему молчишь и смотришь на меня, как будто я ненормальная? Ты заставляешь меня сомневаться, стоит ли задавать тебе третий вопрос, гораздо более глубокий и серьезный, чем два предыдущих.

Третий вопрос: В былые годы ты приходил ко мне в постель несколько раз в неделю, теперь почти никогда, в лучшем случае раз в месяц. Значит, нашему браку конец? По-твоему, я стала отталкивающей? Что изменилось? Могу ли я сделать что-нибудь, чтобы улучшить наши отношения?

Ну вот, я — как глупо — начинаю плакать, это неправильно.

Честное слово, я решила не давать волю слезам, не быть сентиментальной, не мучить тебя своей жалостью к себе.

Не обращай внимания на мои слезы, мне плевать, что я плачу. Дорогой Альфред, не уходи, не сейчас, когда я в кои-то веки собралась с духом. Это самый важный момент в нашей совместной жизни.

Чего ты стоишь и глазеешь на меня словно идиот!

Воистину, не понимаю, почему я так надрываюсь. Уходи, мне стыдно за тебя. Стыдно за себя. Убирайся и оставь меня в покое! Забудь все! Я уже забыла. Забыла, Альфред! У меня никудышная память, и, кроме того, я не злопамятна. До свидания, Альфред. Надеюсь, увидимся на ужине. Не забудь, что у нас гости, Альфред, Альфред...

АЛЬФРЕД выходит. Она одна.

Ох, уже полдвенадцатого, почти стемнело. Как тихо падает снег, холодно, пойду опять лягу, плевать на ванну, на все плевать. О, я лягу в свою постель, там хоть чуточку понадежнее. Подушку под правую ногу, она беспрерывно болит, интересно, что с ней. О, как мне грустно, я иду ко дну.

Что там дядя Оскар обычно говорил:

«Ценность жизнь определяется той ценой, которой ты оцениваешь ее сам».

Но я же пытаюсь, пытаюсь.

Господи, какие потоки слез. Я хочу умереть, хочу умереть.

Нет, что это за глупости, я вовсе не хочу умирать, я боюсь смерти, нет, спасибочки, я вовсе не хочу умирать и все равно постоянно думаю о смерти.

II

Милая Патси, как приятно снова тебя увидеть! Отпуск прошел удачно, вы, конечно, как всегда были в Южной Франции! Мы все лето пробездельничали в городе.

Ты должна прийти к нам и посмотреть на мои розы.

Дорогая Патси, ты такая хорошенькая, так свежо выглядишь, явно поправилась на пару килограммов, но это тебе идет.

Здравствуй, Марианн! Мы встречаемся только на посольских приемах, давай пообедаем как-нибудь вместе на следующей неделе, у нас ведь есть *общие* интересы, правда ведь?

Позвони мне, милая Марианн! Господи, как же у меня болит голова, видишь ли, я с трудом выношу подобное скопление народа, но приходится ходить из-за Альфреда, он обожает всяческие увеселительные мероприятия. Он — очень компанейский человек и обладает поразительным талантом очаровывать окружающих, так ведь, Марианн?

О, Соня, тебе тоже кажется, что это шампанское на редкость отвратительное, наверное, из самых дешевых, я уже слишком много выпила, это все из-за моей мигрени. Ты разве не слышала, что шампанское помогает от мигрени? Соня, дорогая, я понимаю, ты стоишь здесь и следишь за своим любовником. Хочешь, я подам ему знак, нет, нет, я — сама тактичность, думаю, я покину тебя на несколько минут, позвоню в воскресенье. Береги себя, Соня.

О, месье Дусе, вы замерли в восхищении перед одной из моих самых любимых картин! Я обожаю его великого неподражаемого Эжена Каррьеера, я преклоняюсь перед ним. Я люблю его мужество, его духовную силу, бескомпромиссную ненависть к равнодушию толпы. Меня восхищает его сумеречный свет, скрытый тенями, его презрение к кокетству красок. Никто не изображал материнства лучше него. Он проник в самую глубь женской мистерии. Посмотрите на прозрачную тень, светящийся сам по себе свет над лицом женщины. Я в молодости изучала живопись и записалась на занятия к Эжену Каррьеру, он тогда был уже страшно болен. Он умер весной 1906 года. Я ходила на его могилу, в юности я была мечтательницей.

Ух, куда подевался милый месье Дусе? По-моему, он исчез. Альфред, дорогой, неужели я опьянела, как-то странно себя чув-

ствую, но это, наверное, потому, что я простужена, утром у меня была температура

Извините, я не собиралась мешать, совсем не собиралась, продолжайте ваши разговоры на политические темы. Я политику ненавижу и с большим подозрением отношусь к профессиональным политикам. Кроме того, мне бы и в голову не пришло отстаивать свою позицию в таком блестящем обществе.

О, боже! *Это он!*

Я и не предполагала, господи, я не очень трезва, что я делаю, а вдруг он заметит меня, вдруг заговорит со мной.

О, боже, до чего он красив! Я *должна* дотронуться до него. Я *должна* поговорить с ним.

Патси, представь меня ему, ты *обязана*.

Я обожаю его музыку, он Величайший наравне с Моцартом.

Патси, не оставляй меня, лицемерка вонючая! Сейчас я соберусь с духом и подойду к нему. *Маэстро!*

Рихард Штраус! Не укладывается в голове, что можно прикоснуться к вам, не укладывается в голове! Я всегда считала, что мир музыки приближает нас, земных тварей, к непостижимому, к Богу. Мы все живем в своих тюрьмах, в нашем чудовищном одиночестве, окруженные жестокостью. Музыка ниспослана нам, чтобы мы поняли, что существует действительность бесконечной гармонии за пределами нашего земного знания.

В прекрасных чертах вашего лица, Рихард Штраус, я вижу отражение вечного света! Господи, мне плохо, я падаю, все кружится, темно, я теряю сознание.

III

Папочка, милый папочка, до чего хорошо сидеть здесь в твоём уютном, захламленном, неубранном кабинете. Сидеть в зимних сумерках и слушать услужливое тиканье твоих часов. И ты куришь свою старую трубку, и все пахнет так же, когда я была маленькой. Мы часто беседовали с тобой, когда я была маленькой, правда?

Мы говорили о серьезных вещах, так ведь? Я хочу сказать о Смерти, Жизни, Любви и Боге? По-моему, мы даже говорили о Действительности, хотя ни ты, ни я не понимали особенно, что такое действительность. *Каким же образом все так запуталось?*

Я все болтаю и болтаю, а люди молчат и отворачиваются.

Нет, я не собираюсь жаловаться. У меня нет ни малейшего повода жаловаться. Проблема, конечно, заключается в том, что я живу в пустоте, которую заполняю грезами и фантазиями. Представляешь, папа, я пишу стихи, я написала почти тысячу стихов за последние шесть лет, но это не помогает. Я пишу и пишу, но никто не читает.

Да, да, *ты* читаешь, милый папа, ты такой добрый и мудрый критик. Иногда мне кажется, что я приближаюсь к небытию. Знаешь, папа, я чувствую, что обладаю необыкновенной силой, она словно неиспользованное богатство, меня разрывает изнутри. Такие мысли меня частенько одолевают, и в то же время я понимаю, что я глупая, тщеславная и высокомерная. Что я могла бы совершить, что мне думать об этой странной силе?

Папа, ты спишь? Подремли немного, тебе полезно. Папа, папочка, а я теперь пойду к маме. Поспи чуть-чуть.

Она идет по окутанным мраком комнатам.

Мама, ты здесь? Нет? Где же она?

Открывает дверь.

Мама!

Звонит телефон.

Алло! ...Нет, это не жена епископа, это ее дочь. Вот как, как мило, нет, я не хочу мешать отцу, он пишет проповедь, может, вы позвоните попозже? Спасибо. До свидания. Да, через пару часов, около восьми. Да свидания.

Кладет трубку.

Письменный стол матери. Аккуратный до педантичности, ни пылинки. Дневник, фотографии, карандаши, четкий с нажимом почерк. Воспитание. Доверие. Разумность. Никакого принуждения, угрозы или мук совести. Ни голос не повысит, ни резкости не выскажет.

Она оборачивается: на нее с любопытством глядит девочка лет восьми, в старомодном переднике.

Что это за девочка? Не бойся, я не опасна. Меня зовут Виктория, я навещаю своих стареньких родителей, как раз сейчас ищу маму, не знаю, куда она подевалась. Сколько тебе лет? По-моему, восемь. Какой красивый у тебя передник! Я посижу здесь, обещаю не говорить ни слова. Не уходи! Нет, она уходит! Прижимает пальчик к губам и беззвучно, в одних носочках уходит. Исчезает в сумерках столовой. Ее нет! Я не хотела, чтобы жизнь была такой жестокой. Не хотела, чтобы жизнь вот так утекла сквозь пальцы.

Входит Мать.

Мама! Наконец-то ты пришла! Мама! Дорогая, любимая мамочка!

IV

То, что я собираюсь записать в своем дневнике, возможно, лишь сон. Но это точно не фантазия или выдумка. Я помню очень отчетливо — был ясный, тихий осенний вечер. В безветренном молчании дремал парк со своими исполинскими деревьями и отливавшими белым статуями. На соседней скамейке сидела женщина в элегантном бархатном костюме. На ней была шляпа смелого покроя с плотной вуалью, частично закрывавшей ее лицо. Я спросила, не возражает ли она, если я присяду рядом. Она покачала головой.

Посидев несколько минут в полном молчании, женщина начала плакать, навзрыд, отчаянно, как будто от неизбывного горя. Я поинтересовалась, не могу ли я чем-нибудь ей помочь, но она либо не слышала моего вопроса, либо не поняла моего благого намерения. Постепенно глухие рыдания стихли. Она прошептала что-то про себя, кажется, на иностранном языке, взяла себя в руки и, приведя в порядок одежду, ушла, не оглянувшись. И исчезла среди деревьев.

Солнце стояло совсем низко, окрашивая статуи и темные стволы деревьев. В густой пышной зелени появились красноватые оттенки. Река уже потемнела, ее вода неслась быстро и бесшумно, с внезапными бурунами и резкими пенистыми волнами. Я обнаружила старый деревянный мостик и спустилась по крутой, скользкой лестнице. Теперь я находилась на уровне реки, кото-

рая образовывала пруд с глубокой черной водой, двигавшейся медленно и пугающе на расстоянии пальца от края набережной. Из глубины поднималась старинная стена с ржавыми кольцами, впрессованными в кирпич, верхнюю часть стены заходящее солнце окрашивало в кроваво-красный цвет.

Я чувствовала, что замерзла, но была не в силах покинуть эту конечную станцию. Так я и стояла рядом с серой, маслянистой водой, пока свет незаметно не померк в туманных сумерках. Теперь не было больше ни слез, ни утешения, ни возврата, не было даже ни напряжения или страха. Я ощутила лишь бесстрастное удивление, трезвым голосом сказавшее мне: Так вот обстоят дела. Это моя конечная истина. И эта истина ничто.

Истина ничтожна.

Я попыталась произнести это вслух, но потеряла способность говорить, и тогда-то я и подумала, что, наверное, нахожусь в глубоком сне.

V

Ваше Королевское Высочество, дорогие почетные гости, я от всего сердца приветствую вас на нашем скромном театральном-музыкальном вечере. Не могу выразить свою бесконечную радость, что столько членов Дипломатического Корпуса откликнулись на мое приглашение. В то же время я с гордостью хочу доложить вам результаты наших усилий! Базар, танцевальный конкурс, выступление господина Карузо и наш небольшой дивертисмент превысили наши самые смелые финансовые ожидания. Если же добавить сюда тот щедрый и благородный дар, который сделало Ваше Королевское Высочество, то можно сказать, что в этом году мы внесли полновесный вклад для помощи нашим бедным, нуждающимся, прозябающим в трущобах столицы. Мой муж — где ты, дорогой Альфред? — ах, вот он, он такой застенчивый, — составит в ближайшее время детальный отчет обо всех взносах, после чего разошлет его каждому из наших щедрых меценатов.

(Аплодисменты.)

А теперь, дорогие друзья, к *Кульминации* нашего вечера, которую я, с присущей мне скромностью и дерзостью, отнюдь не

соответствующей моему таланту, рискнула написать и частично сочинить музыку. Итак, я сажусь за рояль и приказываю поднять занавес — или, скорее, отодвинуть его в сторону.

(Берет несколько аккордов.)

Над древним пейзажем играют флейты рассвета. Молодые аристократы и аристократки ждут восхода солнца под прохладными кронами деревьев.

(Пианино.)

Они отдыхают на мягкой траве, дремлют, невинно обнявшись. Разрешите маленькое отступление: в XV веке, в Брабанте, существовал обычай, когда молодым юношам и девушкам разрешалось на одну ночь собираться на лугу за пределами городской стены. Эту единственную ночь (пианино) веселых игр, жарких губ, лихорадочных щек и горьких слез. Ах, молодость, красота, чистота, надежды, страсть и отчаяние! Я ваша добрая фея, я охраняю вас, я защищаю вас. Никакая грязь не коснется в это утро моих Малышей! Никакие низкие мысли, грубые слова или двусмысленные шутки не испортят вашей радости. Моя рука распростерта над вами. Ваша страсть — мой аромат.

Куда ты собрался уходить, Альфред? Я вижу тебя навсквозь. И где Марианн?

Все вы, сидящие здесь, разинув рты, знали, что Марианн Фёеркампф совокупляется с профессором Эгерманом. Вы знали, перешептывались, хихикали, потому что вы считаете меня старой дурой — так ей, мол, и надо! Отпустите меня! Я не стану ее убивать. Отпустите меня, черт подери, я не стану ее убивать, но я проучу ее, эту чертову суку. Что такое? Что случилось? Альфред! Ты просто шутишь, притворяешься, чтобы напугать меня! Альфред! Он мертв.

VI.

Подержи меня за руку, дядя Оскар. Анна, помоги мне с платьем, тут что-то зацепилось. Как я появлюсь, по-моему, черное мне определенно к лицу? Правда, Анна? О, Анна, все так ужасно. Нет, мне нужно взять себя в руки. Овладеть собой. Дядя

Оскар, теперь я готова. Нет, лучше ты возьмешь меня под руку. Анна пусть идет чуть позади меня, я имею в виду, если с нами случится приступ слабости. Нюхательную соль взяла, да? Прекрасно. Идем. Ну, дядя Эмиль, открывай двери!

Господи, сколько народа, ну и жарница, чем это воняет, что это за омерзительный запах, неужели это Альфред, этого же не может быть! Если эта шлюха Марианн посмеет явиться сюда, я ее прикончу. Вон Патси, что это она на себя нацепила?! До чего омерзительно блестят на солнце ее вставные зубы.

Это отвратительно. Надо было бы заколотить гроб и сбросить в могилу сразу после бальзамирования. Что они с тобой сотворили, милый Альфред, набили вату под щеки, вид у тебя прямо шутовской. А что это за странная улыбка у тебя на губах, так ты никогда не улыбался, когда был жив?

Теперь все ждут, что я поцелую тебя в лоб, но этого я сделать не в силах. Боже, эта вонь, эти мухи и эта жара!

Как ты, может, заметил, мой дорогой Альфред, я совершенно спокойна. Внешне. Как ты, может, слышишь, голос у меня тоже совершенно спокойный, правда, мне приходится все время сглатывать слюну. Это потому, что меня тошнит от твоего запаха.

Никогда раньше я не стояла перед Ее Королевским Величеством Смертью, неразрешимой тайной. Дорогой Альфред, Смерть превратила тебя — сатрапа и деспота — в Тайну. Я *знаю*, что в твоей смерти обвиняют меня. Оставь меня в покое, дядя Оскар. Не мешай мне. Я говорю со своим мужем. В первый раз за наш больше чем двадцатилетний брак он вынужден будет слушать. Нет, дядя Эмиль, стой, где стоишь, вы все тоже, стойте и не двигайтесь, это будет мучительно, но вы сами так захотели. Я умоляла, чтобы меня избавили от необходимости смотреть на него, но никто не внял моим молитвам. Глубина, ширина, мощь, пропасть, тотальность. Тайные размеры, которые не выразить ни словами, ни поступками. Если бы я, вместо того чтобы беспрерывно сглатывать слюну, плюнула тебе в лицо, это было бы слабым отражением того, что мне на самом деле хотелось бы с тобой сделать.

Ты лежишь в своем элегантном фраке, блестящих лакированных туфлях, с аккуратной прической, с франтоватым видом, как всегда, *но усмешка у тебя дурацкая*. Так тебе и надо. Если бы ты мог увидеть самого себя, а может, ты и видишь, то был бы безгранично смущен.

Глупыми твои улыбки никак нельзя было назвать, милый Альфред, только не глупыми, упаси бог. Они выражали очарование, злобу, жестокость, презрение и превосходство. Порой я спрашивала себя, живой ли ты или умер задолго до смерти.

Бедный Альфред, некоторое сочувствие я все же испытываю. Я с ужасом думаю, что тебе все время приходилось быть тем, кем ты был, быть Альфредом, навеки осужденным играть свою чудовищную роль. Сейчас я вижу — сейчас, когда ты лежишь у всех на виду, жертва искусства бальзамирования, — вижу, насколько просто было бы сорвать твою маску. Альфред, было бы интересно узнать, что скрывается под этой маской. Альфред, сейчас я сорву с тебя маску и покажу твое истинное лицо.

VII

Ты видишь вечерний свет над заснеженным Маттерхорном! И облако, похожее на дым с красной стороны горы. Разве это не потрясающе. Анна, скажи, что это потрясающе!

Подумай, иметь возможность совершить такое путешествие. Дядя Оскар и дядя Эмиль проявили настоящую щедрость, пригласив нас в эту поездку и санаторий в Лугано. Альфред всегда обвинял дядю Эмиля в скупости, я так не думаю, этот санаторий, говорят, очень дорогой, настоящий отель класса люкс. Там есть врачи и медсестры, всякие ванны и другие устройства, если захочешь поправить здоровье.

Анна, дружок, ты не рада? Несколько месяцев мы будем жить в санатории, в праздности и безделье, и кокетничать с привлекательными мужчинами! Кстати, ты заметила двух господ в соседнем купе? Какие красивые и привлекательные юноши, хорошо одетые, воспитанные. Может, мы немного попозже познакомимся с ними? За твое здоровье, Анна! В детстве я боялась тоннелей, а теперь уже нет, ну, почти. Сейчас мы глубоко в горе, которая вздымается на много тысяч метров над нашими головами. Меня разбирает смех! Разбирает смех, когда я вспоминаю последние недели, несмотря на весь их трагизм. Ты в состоянии понять, что на меня нашло, когда я пыталась вытащить бедного Альфреда из гроба? Я чуть уши ему не оторвала.

Подумай, вот было бы интересно, если бы он стал привидением, как по-твоему? Меня страшно занимают спиритические сеансы. Однажды я была медиумом. У меня, очевидно, невидан-

но богатые способности! Я не хочу хвалиться, просто совершенно объективно это утверждаю, у меня счастливая судьба. В один прекрасный день я смогу применить все свои таланты, в этом нет никакого сомнения. Я лишь жду, когда меня призовут, понимаешь, Аннушка. Я стану преданной служанкой Господа. Мне даруют благодать забыть саму себя, ибо я внесена в Божий план. Жуть, до чего я высокопарна. За твоё здоровье, Анна. Допьем эту бутылку до дна, хорошо? Мы уже выпили целую бутылку, она пуста, думаю, я ненадолго прилягу. Такая вдруг усталость навалилась, считаешь от шампанского?

Вот так, теперь хорошо, вот моя милая подушечка и замечательное одеяло. Ты — прекрасный человек, моя милая Анна, ты мой верный друг, а я — твой. Ты так терпелива со своей глупой старой Викторией. Да, да, я старею, нечего закрывать на это глаза, и меня это ничуть не пугает. Я почти сплю. Я сплю.

VIII

Давайте откроем окно, здесь невыносимо душно. Вид, надо, сказать, не слишком величественный. Нет, извините, господин. Никаких физических заигрываний. Вас это, наверное, удивляет? Вы считаете, что женщина, позволяющая незнакомому мужчине заигрывать с собой на парковой скамейке, уже скомпрометирована. Вы считаете, что физическая близость является логическим следствием подобного способа действий? Нет, господин хороший, прошу вас не снимать пиджак, я *настоятельно* прошу вас застегнуть брюки.

За ваше здоровье, господин, как бы вас там ни звали. Давайте сядем на диван и проведем несколько часов в приятной беседе. Нет, сказала я, нет. Вы не посмеете прикоснуться ко мне. Ну вот, вы своими потными руками посадили пятно мне на блузку. Моя бедная невинная белая блузка! Наверно, испорчена навсегда.

Вы наверняка недоумеваете, почему мы с вами сидим в этом замызганном гостиничном номере: вы — простой, пропахший пивом рабочий из низов, и я — дама света. Что же это я хотела сказать? Ну конечно, вы ждете объяснения нашей, начатой по моей инициативе, связи.

Я — актриса. И должна создать главную роль в пьесе Герхарда Гауптмана. Я играю изможденную жену рабочего,

она замужем за жалким ткачом, серым, заурядным мужчиной, который бьет ее, обманывает и непрерывно делает ей детей. На первой репетиции мне пришло в голову, что я никогда не разговаривала с рабочим и тем более, так сказать, не ощущала его запаха. Я ясно поняла, что это серьезный недостаток в моем опыте.

Быть актрисой — значит постоянно изменять идентичность — пардон — никогда нельзя быть самой собой, необходимо вечно быть кем-то другим. В этом есть, разумеется, своя прелесть — кому не хочется убежать от своего меланхолического «я»? Кому не хочется позволить себе забыть свои будни? Пожалуйста, курите в моем присутствии, сама я не курю, мне представляется это неэстетичным, то есть некрасивым, но это касается лишь меня.

О, вы мертвецки пьяны, мой господин, вы по-настоящему отвратительны! Я отлично понимаю: в субботний вечер, закончив работу на фабрике, вы сперва идете в пивную и пьете пиво с вашими приятелями, потом направляетесь в парк, чтобы найти случайную постельную знакомую. Затем еще напиваетесь и наконец набрасываетесь на вашу бедную жену, это чудовищно, вы никогда не задумывались, что можете заразить ее какой-нибудь гадкой болезнью?

Почему вы улыбаетесь? Что я сказала такого смешного? Моя прическа давит мне на голову. Вы извините, если я вытащу гребни и шпильки и выпущу волосы на свободу? Думаю, я сниму и блузку, здесь так невыносимо жарко. Хотелось бы окунуть руки в холодную воду. Не будете ли вы столь любезны поставить таз на комод? Спасибо, именно так. О, как прекрасно! Здесь есть даже чистое полотенце.

Ну вот, теперь я чувствую себя намного лучше, и, по-моему, пришла пора выпить бокал вина. Лед почти растаял в этой жаре, но бутылка все еще холодная. Разрешите мне вам налить, мой господин? А теперь чокнемся. Чокнемся за рабочую честь, я имею в виду мучения и актрисы, и фабричного рабочего. Ваше здоровье, мой господин. Теперь я разрешаю вам снять и пиджак, и галстук.

Вот так, не смущайтесь, в обычной жизни вы наверняка абсолютно бессовестный человек, ваше лицо выражает похоть и жестокость. Вы хуже животного: животное, каким бы отвратительным оно ни было, обладает очевидной невинностью природы, а вы осквернили ваше происхождение и растратили свою

жизнь. Только не начинайте увливать и говорить о вашем жалком детстве, ваших нищих родителях и грязных задворках, где вы выросли. Каждый человек носит в себе Бога, и каждый человек имеет возможность сделать что-то великое и прекрасное в жизни.

Вас, с вашей смертельной завистью к нам, более удачливым, вас, низкопробных революционеров, театральных анархистов, я презираю. Значит, это вы в один прекрасный день овладеете миром?

Рабочие массы спустят Рай на землю. Рай, в котором ни один человек не лучше другого, где все равны, где царят свет и справедливость! Сейчас я расскажу вам кое-что, что вас удивит. Слушайте внимательно.

Я вовсе не актриса, я вовсе не собираю материал для роли. Я сумасшедшая, которая сбежала из больницы. Вам удивительна моя элегантность, как я понимаю. В этом нет ничего удивительного, это не простой сумасшедший дом, он один из лучших, пациентам там разрешают носить собственную одежду, он похож на роскошный отель, хотя великолепный парк окружен неприступной стеной. Ворота заперты. Вокруг стража. Не спрашивайте, как мне удалось перехитрить моих преследователей. Простите за все мои оскорбления. Видите ли, это — один из симптомов моей болезни. Я не имела в виду ничего плохого, меня сжигает ярость, ярость сжигает мои внутренности. Простите меня за грубость и глупость.

Я ведь вижу, что вы добрый человек, иначе я ни за что не приняла бы вашего благородного предложения. Я вижу, что вы нежный, умный и печальный человек. Вы носите сильные очки, сейчас я их сниму, о, какие красивые у вас глаза. Подумать только, у вас такая нежная кожа, несмотря на то что вам все время приходится работать на дожде и ветру. Бедный человек, нелегко тебе живется, я вижу. Веришь ли ты в то, о чем я тут тебе наговорила? Неужели это возможно? Я ведь вру не останавливаясь. Не сказала ни единого слова правды за то время, что мы провели вместе. Знаешь, кто я? Я — грязная шлюха. Шлюха. Это правда. Делай со мной, что хочешь, но ты должен заплатить. Погляди, что у тебя в бумажнике, нет, не трогай меня, не бойся, я тебя не обворую. Обещаю, ты останешься доволен моими услугами. Видишь, я беру одну купюру, самую мелкую. Вот, прошу, бери свой бумажник.

Обычно происходит следующее: стоит мне лечь в постель, мой случайный спаситель надевает очки и вынимает свой бумажник из ночной тумбочки. Потом вытаскивает из него пачку денег и долго ищет подходящую купюру. И дает ее мне, после чего я тут же поднимаю рубашку, обнажая грудь, и он ложится на меня. Это доставляет ему огромное удовольствие, потому что я особо податлива и нежна, когда он дает мне совсем мелкую купюру.

Желаете, чтобы я разделась, или так сойдет?

IX

Тетрадку, которой я сейчас пользуюсь, мне принес Янош, один из наших санитаров. У нас много санитаров, большинство пожилые женщины, сварливые и неприветливые. Янош в основном добродушен, он выбирает фаворитов среди пациентов. В данный момент его фаворитка я, поэтому я пользуюсь некоторыми привилегиями. Эта тетрадка — привилегия.

Вонзив нож для бумаги в горло профессора Якоби, я, наконец-то, преступила границы приличий. Поэтому меня перевели в отделение для буйных, в большой дом за горой, обращенный к лесу. В это время года солнца не бывает, все время идет дождь или снег.

Нас в отделении тридцать восемь человек, и мы заперты в двух больших палатах — одна из них спальня, другая — столовая. Мебель привинчена к полу, на окнах — грубая сетка. Уборные загажены, возможность постирать и помыться ограничена, еды вообще-то хватает, но она недоброкачественная, от нее — если не поостеречься — либо жиреешь, либо тебя рвет. Одни пациенты беспокойны, часами кричат или плачут, другие ругаются или лезут в драку. Повсюду грязь, жуткая грязь, страшно тяжело привыкнуть к запаху мочи.

Зимние вечера часто невыносимы. Темнеет рано, поскольку наши окна выходят на север, верхний свет (электрический) тусклый. Профессор Якоби время от времени делает обход, никогда не знаешь, когда он появится. У него на шее по-прежнему высокий бандаж, и он все еще хрипит. Иногда он подходит ко мне и разглядывает меня, без всякой злости. Изредка я пытаюсь думать о своей прежней жизни, или как мне еще назвать то птичье существование, которое предшествовало моему теперешнему, более приспособленному к реальности бытию.

Я пытаюсь понять, что за ошибку я совершила. Задаю себе сотни вопросов, на которые не получаю ответа, потому что уколы сразу делают эти вопросы бессмысленными, если не сказать смешными. Иногда я спрашиваю себя, а хочется ли мне вообще уходить отсюда. В жизни, подобной этой, тоже случаются, конечно же, приятные моменты, если только не сравнивать ее с чем-нибудь другим. Я имею в виду, например, те дни, когда нас купают, разрешают помыть голову, дают чистое белье и чулки, позволяют надеть праздничное платье. А мы в это время перестилаем постели, и хотя чистые простыни влажные и от них воняет плесенью и стиральным порошком, все равно делается славно на душе.

По естественным причинам в нашем отделении нет зеркал, то есть ты не можешь увидеть себя. Однажды, после того как я искупалась и вымыла голову, ко мне со странным выражением на лице подошел Янош. Держа руку за спиной, он спросил, хочется ли мне. Не дожидаясь ответа, он поднес к моему лицу осколок зеркала. Я стояла спиной к окну, и в зеркальце отражался дневной свет. Я долго разглядывала то, что передо мной возникло, и почувствовала крик, бившийся в животе, но из-за уколов я не смогла закричать, и, может, так оно было лучше.

То, что я увидела, трудно было назвать лицом. Подняв руку, я повернула зеркало в другую сторону, но ничего не произнесла, потому что мне трудно говорить. Особого горя я по этому поводу не испытываю. Скорее втайне улыбаюсь и думаю, что когда я жила во лжи, то говорила беспрерывно, а теперь, когда я, очевидно, живу по правде, меня поразила немота.

Х

Я продолжаю вести свой тайный дневник; и хотя я давным-давно утратила всякие представления о днях, месяцах и годах, все равно мои записи дают мне иллюзию времени и точках опоры в пространстве. Как-то нас накормили зараженной едой. Большинство пациентов тяжело заболели. Я ничего не ела, и это спасло меня. Несчастных рвало желчью и липкой слизью, весь пол вскоре был покрыт вонючей грязью. Санитарки и медперсонал, вызванный из других отделений, пытались что-то сделать, но и их поразил этот невообразимый хаос. Одни уже без сил лежали на своих загаженных постелях, другие бросались на оконные сет-

ки, третьи до крови колотились о привинченные к полу столы. В палатах царил ясный морозный свет, спокойный, неумолимый свет. Я взобралась на подоконник, вцепилась в сетку, прижалась лбом к этой острой как бритва ткани и уперлась взглядом в заснеженные деревья.

В темноте леса, далеко-далеко, я разглядела буковое дерево с еще не опавшими листьями, они даже не пожелтели. Сосредоточившись целиком на этом дереве, отдавшись тишине на опушке леса, я сумела пережить безумие, бушевавшее за моей спиной. Я простояла как приклеенная к окну несколько часов, до самых сумерек. И тут буря стихла, больных на носилках вынесли из комнаты. Втащили шланги и кипятком промыли стены и пол.

Янош, взяв меня за руку, поспешно и сердито повел по коридору, а потом вверх по лестнице. Он открыл дверь и втокнул меня в довольно просторную комнату, выкрашенную в зеленый цвет, с шестью кроватями, шкафами и высоким зарешеченным окном, после чего запер дверь и ушел. Я села на стул. Через какое-то время я набралась мужества, чтобы оглядеться, сперва я решила, что комната пуста, но потом обнаружила за одним из шкафов скрючившуюся фигурку. Девочка была маленького роста, от силы одиннадцать-двенадцать лет. Черные волосы коротко острижены, бледное лицо с неправильными чертами, крупный нос и коричневые губы. Глаза голубоватые, веки вздулись и воспалились, как будто она плакала.

На ней был больничный халат.

XI

Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Почему ты боишься, не надо бояться, иди сюда, сядь на кровать.

Теперь мы можем видеть друг друга в свете уличного фонаря. Ты не хочешь говорить со мной? Ты не *можешь* говорить. Ты немая. Ты глухонемая. Ты понимаешь, что я говорю, умеешь читать по губам? Когда-то меня звали Викторией, но теперь это имя больше не годится. Как зовут тебя? Напиши свое имя на стене, свое имя. У тебя нет имени? Сколько тебе лет? Ты не знаешь? Или у тебя нет возраста? Ты такая маленькая и худенькая, но по твоим глазам мне кажется, что ты прожила долгую жизнь. Ты живешь здесь в этой пустой комнате совсем од-

на? Почему ты живешь одна? Напиши на стене! Я не понимаю. Что ты пишешь? Принцип, это принцип? Принцесса? Понимаю, ты *королевских кровей*, княгиня, поэтому ты должна жить одна. Это так?

Ну ладно, все равно тут кроется какая-то загадка.

Вот погас уличный фонарь. Уже рассвет. На нас движется ненастье. Какой странный день, у меня страшно колотится сердце, ты чувствуешь? «...и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток». Не бойся, просто это что-то, что я когда-то давно читала.

Что ты прячешь в руке? Что-то, что ты хочешь мне подарить? Сердолик, размером с каплю крови. Ты даришь его мне! Ты устала, почти засыпаешь. Давай ляжем вместе на кровать. Накроемся одеялом, чтобы не замерзнуть. Теперь нам хорошо, хорошо. Пусть буря бушует сколько ей влезет, это не важно. Небо может скрыться, свившись, как свиток.

Это тоже не важно.

Чуть позднее меня разбудили санитарки. Девочка, спавшая в моих объятиях, исчезла. Меня отвели обратно в отделение. Метель прижимает дождь и снег к высоким окнам, защищенным сетками. Больные сидят или стоят, погруженные в неясные сны. Некоторые лежат как в обмороке на своих кроватях. Подходит медсестра с ежедневным уколом. Мне дают также тарелку дымящейся каши и кусок хлеба.

Я долго сижу не шевелясь.

Когда я прихожу к выводу, что за мной больше никто не наблюдает, осторожно раскрываю ладонь и гляжу на красный камешек.

Старуха. Что это у тебя?

Виктория. Сердолик.

Старуха. Красивый камень.

Виктория. Очень.

Старуха. Тебе его подарили?

Виктория. Да.

Старуха. Красивый камень.

Виктория. Да.

Старуха. Он согревает ладонь. Попробуй сама!

Виктория. Можно вообразить, будто он отдает тепло.

Старуха. Тебе надо спрятать его.

Виктория. Да.

Старуха. Наша лесная прогулка отменяется. Плохая погода, и многие еще слишком слабы после отравления.

Форё, 11 августа 1972 г.

**ЛЮБОВЬ
БЕЗ ЛЮБОВНИКА**



ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛЮБОВНИКА

От этого сценария отказались три очень добросовестных продюсера. У них были разные мотивировки, но в одном они были единодушны: из этого материала сделать фильм невозможно. Будет слишком дорого стоить. Закончится катастрофой. Это самоубийство.

Со временем я согласился с их печальными выводами и положил сценарий в архивный отдел — «неосуществимые видения и мечты».

Вот так обстояло дело.

Стокгольм, 20 декабря 1999 г.

1

В разгар пурги горит высокий узкий деревянный дом. Небо над равниной бесцветно. День погружается в сумерки. Из дома, частично обвалившегося, вываливается человек. Он катается по снегу, пытаясь сбить огонь с одежды. Он кричит, но его никто не слышит.

Перед зданием правительства какой-то политик дает телевизионное интервью. Он окружен охранниками и журналистами. Он в загадочных формулировках говорит о предстоящем визите в далекую соседнюю страну.

Забивают поросенка, тот визжит, а забивающие смеются. Площадка перед хлевом покрыта снегом, бегут крест-накрест истоптанные глинистые дорожки.

Бегущая прозрачная вода. Среди подводных камней качаются и колышутся водоросли. Как тени, мелькают крупные и мелкие рыбы. Их хватает детская ручонка.

Короткая сцена из фильма или заснятого театрального спектакля. Две женщины обмениваются репликами, они взвинчены, но смеются. Глядят на кого-то, кто находится сбоку от камеры, может, смотрят в зеркало. Одна из них пальцами раздвигает глаз и вращает зрачком. Вторая сжимает влажные крупные губы и высовывает кончик языка. Обе понимающе смеются.

Худенький семилетний мальчик стоит у школьной доски. Он коротко подстрижен, почти под ежик, на нем матросский костюмчик с короткими брюками. Большими, кривыми буквами он выводит: *Ich habe gewesen*. Потом поворачивается лицом к камере и смущенно хихикает, на верхней челюсти не хватает переднего зуба. Пленка поцарапана, резкость плохая.

Во время этого беспорядочного потока кадров (которое продолжается довольно долго) слышатся бормочущие протесты и сопящие вздохи пока еще невидимого зрителя. После нескольких заключительных кадров, показывающих зимнюю стачку на пустынной набережной, момент неприкрытой порнографии начала двадцатого века и собрания одетых в черное господ в похожем на гробницу железнодорожном помещении, пленка выскальзывает из проектора, экран делается ослепительно белым, потом кроваво-красным и, наконец, черным. В просмотрной зажигается свет — комната старомодна, несколько обветшала, в ней темные дубовые панели, бра, похожие на те, что бывают в борделях, настоящие ковры, кожаные кресла и потрепанный занавес из красной парчи с золотыми кистями. В громадном кресле развалил свои внушительные тела доктор Альберт Куммер, голова его склонилась на ладонь, как делают в церкви. На высокой макушке развеваются белые жидкие волосенки.

За небольшим пультом с рабочей лампочкой, несколькими кнопками и рычажками управления громкостью сидит Анна Бергман, подпирая рукой щеку. Ей, без сомнения, лет двадцать пять, она носит большие, по моде, очки, вид ее внушает доверие. Под белым рабочим халатиком — облегающая водолазка и элегантные брюки. Красивое лицо не выражает ничего, кроме дружелюбия.

Долгое молчание.

Альберт Куммер. Так-так...

Анна. У нас 236489 метров рабочей копии на 701 бобине. Все — черно-белое, поскольку по соображениям экономии не стали делать цветной копии. Все негативы пропали.

Альберт. Я только что звонил в полицию.

Анна. Никаких следов?

Альберт. Марко тоже исчез, как и его негативы. Полиция подозревает похищение и вымогательство.

Анна. А вы так не считаете, доктор Куммер?

Альберт (со злостью). Какому идиоту понадобился бы негатив паршивого фильма или режиссер, звезда которого уже зака-

тилась? Кстати, недавно звонили из страховой компании. Они мне покроют производственные расходы.

Анна. Поздравляю.

Альберт. Спасибо.

Доктор Куммер тяжело вздыхает, кладет ноги на спинку впереди стоящего стула, сует руки в карманы и принимает полулежащее положение.

Анна. Вы вздыхаете, доктор Куммер.

Альберт. Не знаю, что со мной, фрёкен Бергман.

Анна. Фру Бергман.

Альберт. Фру Бергман. Я странно себя чувствую. Возможно, мне хочется поплакать. Не знаю.

Анна. Вы любили Марко, доктор Куммер?

Альберт. А разве вы не любили его, Анна Бергман?

Анна. Любила.

Альберт. Разве у вас с Марко не было романа? Довольно длительного, насколько я помню.

Анна. Был.

Альберт. И весьма бурного, а?

Анна. Да.

Альберт. Это ведь случилось в Австралии, во время съемок фильма, который так и не был закончен? Вы в то время работали помощником режиссера?

Анна. Да.

Альберт. А что вы сами думаете?

Анна. Простите?

Альберт. Что вы сами думаете по поводу исчезновения Марко?

Анна. Думаю, что он покончил с собой.

Альберт. Если бы все было так просто.

Анна. Простите?

Альберт. Я ничего плохого не имел в виду. Представьте себе, фрёкен Анна, если мы сделаем нормальный художественный фильм из его двухсот тысяч метров.

Анна. Неужели?

Альберт (оживился). Назначаем день премьеры, а накануне находят истлевшие останки Марко Хоффманна с прощальным письмом и всем таким.

Анна. Это было бы, конечно, потрясающе.

Альберт. Чертов Марко. (Задумчиво.) Я всегда любил его как сына. Я хотел сказать как брата. Я имею в виду, что я был для Марка как бы старшим братом.

Альберт Куммер вынимает руки из кармана и вскакивает с кресла с определенной грациозностью. Прохаживается перед занавесом с золотыми кистями, глядя на Анну.

Анна. Да?

Альберт. Вы получили «Оскара» за монтаж этого дерьмового фильма, как он там назывался?

Анна. «Фрог»?

Альберт. Вас считают выдающимся монтажером.

Анна. Спасибо.

Альберт. По крайней мере, вы чертовски дорого стоите, фрёкен.

Анна. Не знаю.

Альберт. Вы закончите фильм Марко.

Анна. Но ведь сценария нет.

Альберт. Нет сценария?

Анна. Сценария нет.

Альберт. Черт подери, разумеется, сценарий есть.

Анна. Да, сценарий *был*.

Альберт. Но?

Анна. Марко не следовал сценарию.

Альберт. Он что, импровизировал?

Анна. Это мягко сказано.

Альберт. Он фантазировал?

Анна. Приблизительно так.

Альберт (поблуднев). И нет ни одной сцены, которая бы соответствовала написанному?

Анна. Ни единой.

Альберт. Чему вы улыбаетесь?

Анна. Просто я дружески посмотрела на вас, доктор Куммер. У вас на лице такое отчаяние.

Альберт Куммер, фыркнув, зажигает старую хлюпающую трубку. Анна Бергман, уложив нужные бумаги в ядовито зеленую папку, прижимает ее к своей полной груди.

Альберт. Вы отсмотрели все двести тысяч метров.

Анна. Да.

Альберт. Из этого можно сделать фильм?

Анна. В лаборатории говорят, что можно сделать новый негатив из того материала, который проявлен весьма равномерно.

Альберт. Ну и?

Анна. Я бы с удовольствием попробовала.

Альберт. Прекрасно, прекрасно, дитя мое. Я заплачу вам по-королевски. У вас не будет причин сожалеть об этом. Уверяю вас, клянусь.

Анна. Я сделаю, что смогу.

Альберт. Не согласитесь ли вы отобедать со мной, фрёкен Бергман?

Анна. Спасибо.

Альберт. У меня дома.

Анна. Не знаю.

Альберт. Милая моя, все обстоит совсем не так, как вы думаете. В моем доме правят мои сестры, Топси и Полли. Обед будет превосходный. Топси — замечательный кулинар, она медленно, с вожделением убивает меня своей вкуснейшей едой. У меня давление триста десять, и вешу я на пятьдесят кило больше положенного. Нас угостят блинами с икрой и жарким из зайца.

Автомобиль доктора Куммера полностью соответствует его славе как одного из самых богатых людей в этой богатой стране. Это обшарпанный старый «опель», захламленный, словно детская, и пропахший кислым трубочным табаком.

Альберт. Когда я езжу на этой старой колымаге, то воображаю себе, что обманываю террористов. Они ведь только люди и, естественно, не могут себе представить, чтобы богач ездил на такой развалюхе.

Анна. Очень остроумно.

Альберт. Ага. Вот именно. Знаете что, Анна Бергман. Вы мне нравитесь.

Анна. Вы мне тоже нравитесь, доктор Куммер.

Альберт. Может, нам пожениться?

Анна. Что ж, идея неплохая.

Альберт. Не водите за нос старика, фрёкен Бергман. Ну конечно, черт возьми. Фру Бергман. Вы замужем? Замужем. За господином Бергманом.

Анна. Разумеется, я замужем.

Альберт. Давно?

Анна. Достаточно.

Альберт. Счастливы?

Анна. Очень.

Альберт. Дети?

Анна. Детей, увы, нет.

Альберт. Но счастливы?

Анна. На редкость.

Альберт. Этого я не понимаю.

Анна. А разве обязательно все понимать, доктор Куммер?

Альберт. Для меня совершенно необходимо понимать все во всех деталях. Иначе я начинаю сходить с ума.

Анна. Странно. Вы не похожи на боязливого человека.

Альберт. А я именно таков и есть. Самое боязливое и трусливое дерьмо в мире.

Анна. Разрешите мне, доктор Куммер, задать один вопрос?

Альберт. Я точно знаю, о чем вы хотите спросить, фрёкен Бергман. И вопрос этот чертовски деликатный. Вы хотите узнать, почему я ни разу не появился на съемках фильма Марко.

Анна. Как раз то, что я собиралась спросить.

Альберт. Я был влюблен.

Анна. О!

Альберт. Впервые за все мои семьдесят восемь лет. Ха-ха-ха!

Анна. Почему вы так смеетесь?

Альберт. Ей было восемнадцать, и она была шлюхой. (Смеется.) Мы поехали на Таити. Потом в Бора-Бору. Потом в Ганновер. (Смеется.) Директор картины Марко звонил каждый день, но я не желал разговаривать с ним. Я послал шедевр ко всем чертям, я жил в моей собственной безумной инсценировке. Цвет и синемаскоп, разумеется. (Дико хохочет.)

Анна. Надеюсь, усилия и расходы не пропали даром?

Альберт. Анна, милая Анна, все шло слишком хорошо. (Смеется.)

Анна. Извините, но теперь я не понимаю...

Альберт (перестает смеяться). Я устал.

Анна. Это правда?

Альберт. Одно и то же молодое девичье тело, одни и те же маленькие груди, одни и те же длинные мальчишеские ноги,

одни и те же узкие бедра, одни и те же ревность, крики, слезы и примирения. Я устал. Ха-ха-ха-ха! Я устал. (Серьезно.) Простите мой цинизм. Конечно, все было не так просто.

Анна. Могу себе представить.

2

В монтажной царит педантичный порядок и чистота. У стен выстроились по стойке «смирно» семьсот коробок с пленками, тщательно зарегистрированные и переписанные. В центре комнаты возвышается монтажный стол, заряженный кадрами и звуками, тихо жужжит динамик. Анна Бергман в белоснежном халате стоит у раскрытого окна, подставив бледное лицо декабрьскому солнцу и закрыв глаза, она наслаждается сигаретой, делая короткие затяжки.

Поспешно входит Альберт Куммер, вешает свой спортивный полушубок у двери, с удовлетворением осматривается.

Альберт. Какой порядок и уют. Доброе утро, фрёкен Бергман, как дела?

Анна. Спасибо, отлично. А как у вас, доктор Куммер?

Альберт. Я задержан, чертовски. Простите, что опоздал. Ненавижу заставлять людей ждать.

Он садится на неудобный конторский стул у монтажного стола и чешет в затылке. Анна Бергман гасит сигарету, закрывает окно и задергивает плотные темно-зеленые шторы, единственным источником света остается лампа на монтажном столе.

Альберт. Дайте-ка поглядеть на вас. Вы изменили прическу?

Анна. Вовсе нет.

Альберт. Все-таки что-то не то.

Анна. Я вчера вечером помыла голову. Поэтому волосы и не лежат как следует.

Альберт. Ага. Вот вам небольшой подарок.

Анна. Спасибо, очень мило с вашей стороны.

Альберт. Откроете, только когда придете домой.

Анна. Обещаю.

Альберт. Ну?

Анна. За три прошедших недели я пыталась найти начало фильма. Я смонтировала несколько эпизодов, которые, думаю, вполне приемлемы. От восьмисот до девятисот метров.

Альберт. Замечательно. Сгораю от любопытства.

Анна. Я не занималась звуком. Он сбивает меня с толку.

Альберт. Каким образом?

Анна. Марко использовал метод, к которому раньше, насколько мне известно, никогда не прибегал.

Альберт. Звучит зловеще. (Неуверенно смеется.)

Анна. Он инструктирует актеров во время игры. Раз за разом на пленке возникает его голос.

Альберт. Он, разумеется, имел в виду, что фильм потом синхронизируют. Ну, такое бывает.

Анна. Вероятно. Еще я должна сказать, что в его действиях практически отсутствует методичность. Да вы и сами это увидите, доктор Куммер.

Альберт. Тогда лучше начнем, прежде чем я упаду в обморок от страха. (Смеется, но сразу же замолкает.)

Анна Бергман запускает механизм монтажного стола, настольная лампа гаснет автоматически, мягко поскрипывают шестеренки и пленка, маленький экран освещается:

Пожилая дама сидит на широченной кровати и завтракает. Комната красивая, обставлена светлой мебелью. В высокие окна, выходящие в осенний парк, льются лучи утреннего солнца. У кровати стоит молодая женщина с черными волосами и приятными спокойными чертами лица. Она положила несколько писем и газет на столик, который находится в пределах досягаемости для старой женщины.

Юдит. На ленче будет двадцать гостей. Секретарь премьер-министра только что сообщил, что прибудет фру Бауэр. А вот ее сын не сможет. Придворный певец тоже придет, я говорила с ним вчера, у него насморк, но певец надеется, что недуг пройдет.

Шарлотта. Приятно слышать.

Юдит. Ваш сын прислал мне протокол обследования дома.

Шарлотта. Так-так.

Юдит. Извините, фру Эгерман, но чтение не из приятных.

Шарлотта. Не вдавайтесь в детали.

Юдит. Замок нуждается в капитальном ремонте. Последние ремонтные работы проводились в начале пятидесятых и были довольно поверхностными из-за тогдашнего отсутствия материалов.

Шарлотта. Я помню. Конрад был в бешенстве, а я играла роль леди Макбет.

Юдит. Крышу необходимо обновить полностью.

Шарлотта. Конечно, она протекает.

Юдит. Западную башню, самую старую часть здания, необходимо укрепить изнутри, иначе есть опасность обрушения.

Шарлотта. Милая фрёкен Юдит, может, вы перестанете выражаться таким чудовищным бюрократическим языком: «есть опасность обрушения».

Юдит. Это не так просто, но я постараюсь, фру Эгерман: итак, кухня опасна для здоровья, канализация в буквальном смысле дерьмо, вся электропроводка может вызвать пожар, кроме того, пол в помещениях за театром прогнил, большинство окон не уплотнено, нагревательные приборы — просто издевательство. И еще этот бюрократ считает, что парк в полном запустении.

Шарлотта (смеется). И это все?

Юдит. Еще много чего, но я ведь должна была перечислить самое главное.

Шарлотта (смеется). И что говорит мой сын?

Юдит. Господин инженер сказал, что его мать рассмеется от всей души.

Шарлотта. Петер знает свою старую мать.

Анна Бергман останавливает аппарат, и тут же зажигается настольная лампа.

Альберт (с энтузиазмом). Очень милая сцена.

Анна. К сожалению, она не закончена.

Альберт. Там должно было быть еще что-нибудь?

Анна. Переход к следующей сцене слишком резкий.

Альберт. Возможно, он собирался снять промежуточный эпизод.

Анна. Не исключено. Но этот эпизод я не нашла. (Испуганно.)

И кстати, я должна все делать по порядку. Иначе будет полный хаос.

Альберт. Но, милое дитя, вы, надеюсь, не расстроены?

Анна. Нет, нет, но эта работа вызывает у меня возмущение. (Берет себя в руки.) Простите.

Альберт (дружелюбно). А сейчас мы продолжим, хорошо?

Анна. Разумеется, после сцены с Шарлоттой и ее секретаршей можно было бы вставить сцену с Петером и Катариной. (Со злостью.) Сплошной хаос. Все это.

Альберт. Я согласен, а теперь продолжим.

Анна. Художественный беспорядок — это всего лишь высокомерие и претенциозность.

Альберт. Да, здорово же вы разозлились.

Анна. В этом весь Марко. (Смеется.) Простите.

Она включает аппарат, на экранчике возникает новая сцена: фру Шарлотта перед тем как заснуть. Она сидит в удобном кресле у письменного стола. Светит солнце. За окном шелестят кроны громадных деревьев. Мелодично позванивают настольные часы с маятником, в форме пастушка и пастушки.

Внезапно Марко Хоффманн начинает говорить с актрисой. Похоже, он стоит рядом с микрофоном, голос непринужденно дружеский. Старая дама не выдает ни одной черточкой лица, что идет инструктаж.

Марко (за кадром). И тебе кажется, будто ты маленькая девочка, ты играешь в парке. Чем ближе сон, тем глубже ты погружаешься в раннее детство. Ты совершенно спокойна, на губах даже появляется легкая улыбка.

Шарлотта улыбается с закрытыми глазами. Поскольку она талантливая актриса, улыбка получается великолепно.

Анна. Меня раздражает, что Марко дает указания, не выключая камеры. Подумайте, сколько пленки уходит зря.

Марко (за кадром). Тихо. Долго. Лови момент. Сейчас будем панорамировать. Панорамируй. Конрад, сделай шажок, как бы неуверенно, вот так, хорошо.

Камера панорамирует от Шарлотты, дремлющей в большом кресле в нежных лучах солнца, на Конрада, ее мужа, пожилого господина, немного согбенного, с седыми волосами и мягкими чертами лица. На нем поношенный халат, на ногах рваные тапки, на носу сильные очки. Он делает шажок вперед и в сторону, солнечный свет освещает его старческое лицо с наивными глазами, чуть подернутыми пленкой, и редкой бородкой.

Конрад. Надеюсь, я не помешал.

Шарлотта. Ты никогда в жизни не помешал ни одному человеку. Я рада, что ты пришел.

Конрад осторожно выходит из тени алькова и смущенно семенил по старомодному поскрипывающему паркету.

Шарлотта. Присаживайся, мой дорогой.

Конрад. Спасибо.

Шарлотта. Хочешь кофе?

Конрад (улыбаясь). Спасибо. Нет, спасибо.

Шарлотта берет руку старого господина.

Шарлотта. Давненько мы не виделись.

Конрад. У тебя было столько дел.

Шарлотта. Тебе не нравится наша затея со спектаклем?

Конрад. Что ты, я не это имел в виду.

Шарлотта. Я всегда мечтала сыграть Просперо. Ты ведь знаешь.

Конрад. Ты сыграешь своего Просперо.

Шарлотта. Но тебя что-то беспокоит?

Конрад (улыбаясь). Я как раз собирался задать тебе тот же вопрос.

Шарлотта. Меня, беспокоит? Нет, не думаю. Да, меня, конечно, заботит брак Петера и Катарины. Но с этим ничего не поделаешь.

Конрад. Нет. Разумеется.

Шарлотта. Ну?

Конрад. Что?

Шарлотта. Ты что-то хотел от меня.

Конрад. Да, конечно.

Шарлотта. Так говори же!

Конрад. Завтра в это время твоя жизнь закончится.

Шарлотта. Ты хочешь сказать, что я умру?

Конрад. Я хочу сказать то, что сказал: завтра в это время твоя жизнь на земле закончится.

У Шарлотты на глаза наворачиваются слезы, она в глубоком волнении наклоняется вперед и целует руку старика.

Шарлотта. Спасибо, дорогой, спасибо.

Конрад. Я не знал, как ты это воспримешь.

Шарлотта. Ты же видишь, как я благодарна. Бесконечно благодарна. Спасибо, любимый, мой любимый друг.

Анна с сухим щелчком выключает аппарат. Сразу же зажигается настольная лампа. Изображение гаснет, звук пропадает. Альберт сидит, наклонившись вперед, руки на коленях, очки на кончике носа. Он с удивлением смотрит на раздраженную монтажницу.

Альберт. Это конец?

Анна. У меня есть еще одна сцена, но она на другой бобине. Я сейчас перезаряжу. Это быстро.

Быстрыми сердитыми движениями она перекручивает пленку и звуковую дорожку, открывает коробку и вынимает еще две бобины. Заряжает, синхронизирует, запахивает белый халат и садится на неудобный стул.

Альберт. По-моему, очень трогательно.

Анна. А по-моему, нет.

Альберт. И что вы думаете, дорогая Анна?

Анна. По-моему, это сентиментально и нереально.

Альберт. Нереально? Ей снится, будто к ней приходит муж и говорит, что она завтра умрет. Красиво, правда?

Анна. По крайней мере, меня это не касается.

Альберт (улыбаясь). Продолжим?

Анна. Естественно.

Теперь Шарлотта стоит на слабо освещенной старомодной театральной сцене. На ней длинный прямой плащ, свободно ниспадающий с плеч, грима на лице нет. В руке палка. На заднем плане виднеется Юдит с тетрадкой с ролью. Рядом с актрисой — молодой, красивый юноша, на нем майка и джинсы, он бос.

Шарлотта. Мой прадед, который очень любил театр, построил это здание в начале девятнадцатого века, кажется, в 1826 году. Этой частью замка больше не пользуются, здесь нет даже электричества. Все, разумеется, в ужасном состоянии, но я иногда с удовольствием прихожу сюда, чтобы послушать ти-

шину. Вы когда-нибудь задумывались, мой молодой друг, как вас там зовут?

Валентин. Валентин. Валентин Фест.

Шарлотта. Вы когда-нибудь задумывались, господин Фест, что в старом, заброшенном театре царит особая тишина?

Валентин. Да, я думал об этом.

Шарлотта. Если прислушаться внимательно, то эта тишина состоит из тысяч голосов. Представьте, сколько великих и мелких эмоций сотрясало этот грубый, наклонный сценический пол: смех, гнев, плач, любовь, месть!

Валентин. Я ощущаю то же самое. Это везде, наверху, в колосниках, внизу, у рампы, или под полом.

Шарлотта. И мой театр никто не использовал все эти годы. А сейчас мы будем здесь играть шекспировскую «Бурю». Здорово, а?

Валентин. Разрешите мне, прежде чем мы начнем репетировать, сказать нечто важное.

Шарлотта (улыбаясь). Пожалуйста, господин Фест.

Валентин. Я вас люблю, это может показаться совершеннейшим безумием, но я не сумасшедший и не витаю в облаках. Я люблю вас и прошу простить меня за то, что говорю это вот так, безо всяких формальностей. Я много раз вам писал, но ни разу не получил ответа лично от вас, всего лишь пару формальных строчек от вашей секретарши. Фру Эгерман, надеюсь, вы представляете себе мою радость, когда директор театра сообщил мне, что наша труппа будет ставить «Бурю» здесь, у вас, и что вы сами будете играть Просперо, а я Ариэля. Мне двадцать два года, фру Эгерман! Всю свою сознательную жизнь я видел вас на сцене. В первый же раз, мне было восемь, когда вы играли Виолу в «Двенадцатой ночи», я в вас влюбился, а потом смотрел все сыгранные вами великие роли, пока вы не ушли со сцены четыре года назад. Ну вот, я сказал то, что должен был сказать. Скоро придут мои товарищи, начнется репетиция, и тогда обо всем этом можно забыть.

Юдит отодвинулась в темноту за старые декорации и канаты. Невидимая, она пристально наблюдает за странной сценой.

Шарлотта протягивает руку к юноше и слегка касается его щеки.

Валентин. Я хочу, чтобы мы поцеловались.

Шарлотта (нежно). Идите ко мне.

Он делает шаг к ней и целует ее в губы, совсем легонько.

Валентин. Ни у кого нет таких прекрасных губ.

Шарлотта внезапно возвращает ему страстный поцелуй.

Анна останавливает аппарат, стремительно встает, зажигает верхний свет, потом подходит к окну, отдергивает шторы, закуривает. Альберт Куммер, по-прежнему сидя за столом, набивает табачком одну из своих прокуренных трубок и с некоторым трудом раскуривает ее.

Альберт. Пару месяцев назад мне позвонил мой старый друг Хорст Вендтланд. До него как раз дошли слухи об исчезновении Марко.

Анна. Да?

Альберт. Он прислал мне записанное на пленку телеинтервью Марко, которое он дал за несколько недель до этого.

Анна. Об этом я ничего не слышала.

Альберт. Естественно. Его нельзя было давать в эфир. Ни одно слово не могло стать достоянием общественности. Оно у меня дома. Хотите посмотреть?

Анна. Вы считаете, что это важно для продолжения работы, доктор Куммер?

Альберт. Ну, этого я утверждать не могу. Но...

Анна. Понимаю.

Альберт. Моя сестра Топси приготовила чудесный ужин. Живя во Франции, она стала настоящим специалистом по сельянке. У вас не текут слюнки, Анна Бергман? Я хочу сказать, в такой холодный и противный день.

Анна. Не знаю. Пожалуй, у меня сегодня нет времени.

Альберт (кивает). Нет времени? Ну да, конечно.

Он встает из-за стола, прокуренная трубка уже погасла, подходит к стоящей у окна Анне, осторожно кладет свою большую ладонь на ее плечо, на мгновение задумывается, на губах мелькает улыбка, но потом он вновь становится серьезным.

Альберт. Я угощу вас прекрасным красным вином!

Сестры и квартира доктора Куммера, наверное, заслуживают отдельного рассказа. Сестре Полли около восьмидесяти лет, она начала впадать в детство, что ее несколько не портит. Она похожа на смешного ребенка, которого заколдовали или подменили на кого-то другого, взгляд у нее полон достоинства, но несколько рассеянный, а дружелюбная улыбка выражает некое странное извинение за то, что она больше не в состоянии от всего сердца принимать участие в хлопотах и заботах этого мира. Ее лучший друг, безусловно, жирный пудель, с которым она охотно беседует. Топси, в отличие от Полли, в вечных трудах. Ей восемьдесят четыре, у нее розовые щеки и маленькие веселые глазки, правда, сильно близорукие. Ее страсть — цветы, вкусная еда и астрономия. Обе сестры — старые девы. Они посвятили свою жизнь служению доктору Куммеру, который оплатил им поистине братской заботой. Живут они в просторной квартире, в старомодном, хорошо сохранившемся каменном доме, выходящем в треугольный двор, отгораживающий его от уличного движения. Большие, светлые комнаты, обставленные со своего рода неземным изыском.

Итак, собравшиеся едят французский суп, пьют первоклассное вино Альберта и слушают лекцию Топси.

Топси. В космосе обнаружили огромные дыры. Звезды, планеты и целые галактики взорвались и соединились вместе, вследствие чего материя приобрела невероятный удельный вес.

Полли (пуделю). По-моему, мой малыш Тедди занемог. Он потерял аппетит, и у него усталый вид, он какой-то вялый.

Альберт. Если бы ты дала ему немного поголодать, ему стало бы намного лучше.

Топси. Черные дыры в космосе, которые втягивают в себя все, что находится на расстоянии полумиллиона световых лет. Если бы Земля попала в такую дыру, она бы перестала вращаться, и за несколько секунд наш земной шар сжался бы, превратившись в мячик, не больше арбуза.

Полли (хихикает). Тогда бы ты, Тедди, совсем крохой стал!

Топси (не дает себя перебить). Есть расчеты, согласно которым существует большая вероятность, что в ближайшие двести двадцать миллионов лет мы окажемся в такой дыре. Фрёкен Бергман, еще супа? На десерт я приготовила вкуснейший творожный пудинг.

Анна. Нет, спасибо, я сыта.

Полли. Тедди не ходил по-большому два дня. Альберт, может, показать его ветеринару?

Альберт. Если хочешь, я позвоню доктору Соломону.

Полли. Но разве он не хирург?

Альберт. Конечно, с мировой славой, так что он наверняка знает, что с Тедди.

Анна делает попытку помочь убрать со стола, но сестры бурно протестуют, не позволяя ей встать из-за стола. Когда сестры на несколько минут исчезают в кухне, Альберт, наклонившись к Анне, с нежностью произносит:

Альберт. Один друг сказал мне: *Самое главное, чтобы не тебя любили. Самое главное — любить самому.*

Анна. Так и сказал?

Альберт. Да, подумать только, так и сказал.

В ту же секунду в комнату влетают сестры с пудингом и Тедди.

3

После ужина Альберт, сославшись на дела, приглашает Анну в свой кабинет, стены которого уставлены стеллажами с книгами с пола до потолка. В центре комнаты стоит внушительный письменный стол. Камин окружает группа диванов и кресел. Все они потертые, изношенные, но в хорошем состоянии. В углу скромно примостился сравнительно небольшой телевизор, соединенный с примечательным по сложности магнитофоном. Полли приносит вино и удаляется. Жирный пес устраивается на свое любимое место — кусок овчины под столом. Альберт зажигает старую морскую трубку, испускающую благоуханный аромат, горит камин, большие окна заливает дождь, и Анна с приятным чувством нереальности опускается в кресло.

Альберт (указывая на магнитофон). Не подумайте, что я использую это чудище каждый день. Я его одолжил у своего друга Хорста Вендтланда, чтобы показать вам интервью с Марко. Посмотрим, справлюсь ли я с ним, я тщательно разузнал, как это делается, но в технике я полный профан. Ха, черт побери! Вот и он, мой мальчик!

И действительно. Экран светлеет, мелькает несколько пустых кадров, потом изображение стабилизируется, и появляется Марко Хоффманн в киностудии. Декорация представляет собой зал заседаний в каком-то учреждении, все выдержано в строгом, современном стиле, в бледно-серых тонах. За спиной режиссера идет установка света. Телекамера направлена только на Марко — невысокого, широкоплечего человека с коротко стриженными седыми волосами, взгляд голубых глаз за сильными очками напряженный, короткий мощный нос, толстые губы и квадратный, выдающийся вперед подбородок. Одет стильно, почти как сноб, на нем элегантная кожаная куртка, цветная рубашка с галстуком, хорошо отглаженные модные брюки и начищенные мягкие туфли с немного завышенными каблуками. Во время интервью он беспрерывно курит. Интервьюер в кадре не показывается ни разу, но это, без сомнения, женщина.

Интервьюер. Итак, перед нами Марко Хоффманн, которого мы знаем по многим художественным фильмам последних лет,

таким, как, например, «Миражи», «Белая стена», «Успех», «Анна Каренина», если упомянуть лишь несколько из сделанных им семидесяти четырех фильмов. Сейчас он занят грандиозным проектом, который он называет «Любовь без любовника». Откуда такое странное название, господин Хоффманн?

Марко. Обычно фильм или книга должны иметь какое-то название. Эту фразу я нашел в «Утраченных иллюзиях» Бальзака.

Интервьюер. Значит, название не имеет ничего общего с фильмом.

Марко. Может, и имеет. Просто я не знаю, каким образом.

Интервьюер. Сюжет держится в строжайшей тайне. Все, кого я спрашивала, лишь качают головами и говорят, что им ничего неизвестно.

Марко. Все верно. Тот, кто проговорится, будет уволен.

Интервьюер. Ну и ну, господин Хоффманн, так вы диктатор?

Марко. Именно так. Я — диктатор. В этой работе не существует ни грана так называемой демократии. Многие мои решения чрезвычайно непопулярны, и, вероятно, большинство считает меня сумасшедшим садистом. Я отказываюсь от всякого к себе благорасположения. Кроме того, это было бы проявлением кокетства, и к тому же занимает много времени.

Интервьюер. Значит, вы не хотите комментировать фильм ни по одному пункту.

Марко. Послушайте, миссис, как вас там зовут.

Интервьюер. ПИТТ. Венди Питт.

Марко (разглядывает ее грубо и бесстыдно). Вот как! Так, стало быть, это вы?

Интервьюер (с легким смешком). Стало быть, это я.

Марко. Очень интересно. Вы были офицером английского флота, а потом сделали операцию. Или я ошибаюсь? Вы *та самая* миссис Питт, она же Давид Ховард?

Интервьюер. Сейчас речь не обо мне.

Марко (наклоняясь вперед). Наше пресс-бюро известило меня, что вы имеете большой вес и что это интервью весьма важно. С первого же взгляда мы невзлюбили друг друга, мистер-миссис Ховард-Питт. Есть только два выхода из создавшейся ситуации: один, более приличный, — мы немедленно заканчиваем эту идиотскую беседу, и другой, более фанта-

стический, — мы продолжаем, но отбрасываем всякий социальный театр. Вам решать.

Интервьюер. У меня нет выбора, господин Геббельс. Мой работодатель будет крайне разочарован, если я ему сообщу, что это интервью полетело к чертям собачьим. Я, в отличие от вас, завишу от своих заработков.

Марко. Я сейчас расплачусь, миссис Питт.

Интервьюер (бодро). Тогда начнем сначала. Итак, перед нами Марко Хоффманн, писатель и режиссер, которого мы знаем по его многочисленным художественным фильмам последних лет. В настоящее время он работает над проектом, который по какой-то причине называет «Любовь без любовника». По словам его сотрудников, речь в нем пойдет о политическом убийстве.

Марко. Вот это да!

Интервьюер. Марко Хоффманн и политика — довольно необычное сочетание, не так ли?

Марко. Всю свою жизнь я занимался политикой. В детстве я был весьма выдающимся политиком, поскольку речь шла о том, чтобы извлекать выгоды из грозных властителей, окружавших меня со всех сторон. Я был умелым прагматиком, который мог бы украсить любую социал-демократию. Хотите слушать дальше или я вас утомляю, вы все время хлопаете ресницами, они настоящие или приклеенные?

Интервьюер. Вы обычно с плохо скрываемым кокетством хвастаетесь, что восхищаетесь Гитлером. Это правда?

Марко. Мне было пятнадцать лет, и я боготворил Гитлера. Я считал, что национал-социализм — это спасение для загнивающего Запада. Я записался в гитлерюгенд, а так как я проявлял наибольшую преданность, меня отобрали в особый отряд. То есть выполнять чрезвычайно стимулирующую работу — избивать непритязательных евреев и громить их скромные лавки. К началу войны я стал фронтовым фотографом, не особенно успешным, должен признаться, скорее наоборот. Но я выжил, и когда союзники оккупировали страну, я в один прекрасный день начал снимать живые трупы в Дахау. Это было очень странно, но мой хороший английский спасал меня в трудных ситуациях. (Закуривает сигарету.) Мне тогда было двадцать четыре. И в голове у меня царил совершеннейшая путаница. Но поскольку мне такое состоя-

ние вовсе не нравилось, я обратился к Богу, стал его верным адептом, истово молился, испытывал блаженные муки и обрел успокоение. Я не помню точно, когда у меня наступил религиозный кризис, но, по-моему, это было связано с какой-то любовной историей. Я заделался коммунистом, в то время это было модно. Одно время я был влюблен в Кеннеди, но, естественно, все это кануло в вечность, когда он напал на Кубу. Потом я переметнулся к Мао, и одновременно один хитрый патер обратил меня в католицизм. Теперь я был совершенно счастлив. Мы с матерью — она итальянка — переехали в Рим. Там я поставил множество социально ангажированных фильмов, вкусил настоящий успех и заработал кучу денег. Я съездил в Китай, где встретился с председателем Мао. Мне дал аудиенцию Его Святейшество папа, я встал на колени и поцеловал его кольцо. О, то было счастливое время, так и знайте, миссис Питт. Все встало на свои места, и я уверенно качался в гамаке, натянутом между двумя гигантскими дубами. Вы так саркастически улыбаетесь, извините, что спрашиваю — вы бреетесь каждый день? Вы, конечно, задаете себе вопрос, не пьян ли я. Разумеется, я пьян, иначе я бы не сказал вам ни слова. Итак, я выпиваю, когда работаю. Именно так, миссис Питт-Ховард. Случается, я напиваюсь до такой степени, что говорю то, что думаю. Кроме того, в пьяном виде мои мысли становятся четче.

Интервьюер. Я больше не бреюсь. Но первое время после операции было нелегко, если вы хотите знать. Я часто плакала из-за людской бестактности.

Марко. Простите, но мы, кажется, отклонились от темы? Если мне не изменяет память, мы обсуждали мою политическую биографию.

Интервьюер. Извините, господин Хоффманн, но вы спросили, бреюсь ли я по-прежнему.

Марко. Вы действительно считаете, что публике интересны ваши косметические и гормональные проблемы? (Закуривает.) Ну вот, я заставил вас плакать. Чрезвычайно приятно. (Молчит, пока интервьюер всхлипывает.)

Интервьюер. Пожалуйста, выключите ненадолго камеру.

Марко (подносит зеркало к лицу интервьюера). Тушь потекла, вид ужасный, вы плачете, миссис Питт, потому, что я был с вами груб, или потому, что ваша жизнь сложилась так стран-

но? Неужели же на самом деле лучше стариться, как одинокая дама с бесчеловечной профессией, чем выращивать розы в собственном саду в качестве отставного полковника английского флота?

Интервьюер (берет себя в руки). Уберите, пожалуйста, зеркало, господин Хоффманн. Мы продолжаем интервью, нет, не выключайте, пусть запись продолжается. Я это вырежу и начну так: значит, вы отказались от католичества и вышли из партии.

Марко (улыбается). Я устал, постарел, идеалы усохли и видения погасли. Настала пора поклоняться серым компромиссам! Я обнаружил, что социал-демократия служила убеждением для недовольных идеалистов. Внутренняя суть социал-демократии — глубоко циничное, само собой разумеющееся презрение к людям, это религия, сшитая по меркам материализма и капитализма. Мавзолей всяческих видений. Великий сон.

Интервьюер. Трагический конец, господин Хоффманн.

Марко. Это не было концом, миссис Питт. Способность человечества переживать собственные катастрофы непостижима.

Интервьюер. Вы, похоже, чудовищно разъярены, господин Хоффманн.

Марко (с улыбкой). Я сдержанно взбешен, это моя форма жизни. У меня налажена прямая связь с моим гневом. Мне хочется разбивать, портить — убивать.

Интервьюер. Здесь кроется что-то особенное...

Марко. Говорят о маньяках, преступных наклонностях, наследственном асоциальном поведении. Интересно, какие мутации, какие природные извращения создают человека власти, политика. Если бы люди осознавали тот обман, которому они подвергаются ежеминутно, то намного добросовестнее убивали бы своих политиков и разрушали свои общества.

Интервьюер. Вы потрясающе кокетничаете своим анархизмом, господин Хоффманн. Воспринимать вас всерьез довольно трудно.

Марко. А я этого и не требую. Я говорю лишь о чувствах, разве не так? Я никогда особо высоко не оценивал свои мыслительные способности и возможности словесно выражать свои эмоции. Кстати, что-нибудь вечно мешает.

Интервьюер. Что вы имеете в виду, господин Хоффманн?

Марко (закуривает). Я расскажу вам, миссис Питт, хотя вы ни в малейшей степени не заслужили моего доверия. Когда мое бешенство достигает апогея, и я уже готов совершить решающее, давно запланированное и страстно желаемое мной насилие, что-то мне всегда мешает. Что-то, или скорее кто-то! Внезапно я вижу какого-нибудь милого дурачка, который занимается своими розами, обвязывает их, состригает их, осторожно ухаживает за ними своими испачканными в земле руками. И тогда из меня, разумеется, выходит весь пар. Или славная толстуха склоняется над своим внуком, поднимает его своими крупными мягкими руками и утешает его непонятными ласковыми речами. И из меня выходит весь пар. Или группка зловредных, тощих юнцов, прыщавых, с засаленными волосами, стоит на улице, выкрикивая матерные ругательства вслед проходящим мимо оскорбленным женщинам. И тогда из меня окончательно выходит весь пар, миссис Питт. Вы спрашивали недавно, в каком месте происходит действие фильма. Я не знаю, да и откуда мне, черт подери, это знать. Быть может, оно происходит в глубине моей ненависти, населенной безумцами и разбойниками. Почему я знаю? Во мне или в вас, миссис Питт, или в запутанных чувствах зрителя. Не знаю. Ложь, надувательство, жестокость и хитрость происходят повсюду. Тот, кто узнает себя, может закричать, тот, кто ощущает себя оскорбленным, может дать сдачи. Однажды я спросил одну потаскуху, почему она занимается таким богопротивным делом. Она честно ответила, что ей нравится торговать собой, и, кроме того, это дает ей возможность жить более или менее пристойно, она может существовать в некоторой скромной роскоши. Я отвечаю, как она. Почему я должен любить своих клиентов, или как это называется — «своих зрителей»? Они идут ко мне, и я даю им то, что им надо. Если я создам что-нибудь ненужное им, они меня в лучшем случае пошлют куда подальше. В худшем случае они меня побьют и осрамят телесно и душевно. Вот как все просто, дорогая миссис Чудачка. Скажите, а правда можно отрезать мужской член и заменить его женской дыркой? Если бы вы не были мне так бесконечно противны, я бы попросил вас снять юбку и продемонстрировать это чудо. Все человечество мне на самом деле чуждо, но я страшно любопытен. Что это я хотел сказать? Мой старый

учитель, которого я по-настоящему уважал, утверждал, что искусство, не имеющее отношения к любви, не имеет никакой цены, и я с ним согласен. Хотите верьте, хотите нет, мой милый Дед Мороз, я обожаю цветники с розами, старых матерей, заблудших жуликов, портных, цирковых акробатов, трубочистов, воскресных рыбаков — не буду перечислять все, что я люблю. Честно говоря, иногда я мечтаю делать фильмы для этих людей, но с одной стороны, они обойдутся и без моих признаний в любви, а с другой — я не знаю, чего они хотят. Сказок о любви, может, фильмов с цветами и животными, вечерними закатами и лунным светом, нежными сердцами и настоящей мудростью? Нет, я делаю фильмы для себя и собственного заработка. Когда-нибудь, когда я не буду представлять интереса для дела, меня вышвырнут. Я хочу предвосхитить этот момент, самому взять шляпу и на собственных ногах покинуть храм. Без всякой горечи. Жизнь — роскошный праздник, а я старательный организатор праздников и голодный гость. Мировой порядок — это, по-видимому, грандиозный беспорядок, Бог в этом преуспел, вы должны это признать, миссис Невероятная, особенно *вы* должны с этим согласиться. Бог продумал все, за всеми пределами человеческого ограниченного разума. Естественно, я верю в Бога, богов, божественное, другого и быть не может, я ведь и сам бог, хотя в более скромном масштабе, я организую и строю вселенную, которой владею в мельчайших деталях, я создаю людей и их обстоятельства, я уничтожаю и оправдываю, и не обязан предъявлять счет. Вы иронически улыбаетесь, мадам Журналистка. Я знаю, что вы думаете. Вся эта романтика ужаса, вся эта болтовня, вся эта претенциозная бутафория по поводу художника и его произведений. Я разрешаю вам думать так, мадам la Formillone! Вы даже не понимаете, о чем я говорю. Вам никогда...

На этом магнитофон останавливается, словно устав от всего этого бахвальства, и изображение гаснет. Марко Хоффманн и его странная собеседница исчезли, точно их никогда и не было в этой просторной тихой комнате.

Анна ищет в своей сумке сигарету, зло и слепо перерывает ее содержимое, с возмущением поворачивается к Альберту.

Анна. Не дадите сигарету? Я не могу найти свои. Наверно, забыла в монтажной.

Альберт (придвигает к ней серебряный портсигар). Для гостей!

Анна. Спасибо.

Альберт. Вы, кажется, возмущены, фрёкен Бергман.

Анна. Я не возмущена и не расстроена. Я в ярости.

Она дрожащим пальцем показывает на молчащий телевизор.

Альберт. Правда?

Анна. Никогда в жизни не слышала такой идиотской, смехотворно идиотской чепухи. Кем он себя считает?

Альберт. Богом, конечно.

Анна. По-моему, это интервью надо дать в эфир. *По всему миру!* Везде. В Гренландии. В Сахаре. На Южном полюсе. В Швеции. На Кубе. Везде надо показать этого человека и его тщеславность, самовлюбленность, смехотворность, претенциозность, идиотизм, безумие, наивность, тупость, отравленность — он ненормальный, сумасшедший. Показать и сказать: Вот как бывает!

Альберт. То есть? Как бывает?

Анна. Не знаю. Так бывает, когда человек, или как его еще можно назвать, теряет всякие пропорции по отношению к себе, действительности, окружающему миру и другим людям. Проклятый идиот. Ему повезло, что не я возглавляю эту телекорпорацию.

Она еще раз указывает на молчащий телевизор. Альберт наливает вина себе и своей гостье.

Альберт (с улыбкой). Это, действительно, везение.

Анна. Когда я смотрела это интервью, то подумала: «Больше ни дня». (Пьет вино.)

Альберт. Простите?

Анна. Больше ни одного дня я не буду возиться с его чертовыми двумястами тысячами метров в попытке внести порядок в его выдумки и фантазии. Подобного человека необходимо заставить молчать. Это единственно правильное решение.

Альберт. Только что вы сказали, что это интервью следует показать по всему миру.

Анна (снова делает жест в сторону телевизора). Я любила этого человека больше всех на свете. Я ухаживала за ним, когда он болел, я готовила ему еду, я штопала его носки и стирала его рубашки. Я разговаривала с ним дни и ночи, я слушала его, я любила его, как бы он себя ни вел. Он бил меня и спал со мной, и он говорил, что любит меня, и изменяет мне, и врет мне, и ревнует как безумный, а я прощала его, и он рассказывал, как напивается со своими «голубыми красавчиками», но я принимала и это. Он уверял, что любит меня, и, думаю, действительно любил какой-то странной, эгоистичной, отстраненной любовью, а я любила его, никогда не переставала любить, он — лучшее, что было в моей жизни. Но когда я вижу, как дюжий мужик, похожий на злого мальчишку, оскорбляет и унижает эту бедную измотанную женщину, у которой только один способ защиты — ее глупый жаргон, мне становится так больно, что хочется умереть, и я принимаю решение — *никогда больше не заниматься его чертовым фильмом*, думаю, нам надо принять предложение страховой компании, доктор Куммер. Это щедрость с их стороны, учитывая, сколько вы заплатили за это дерьмо. И я свяжусь с транспортным агентством и попрошу их взять эти семьсот коробок и как можно скорее вывезти их на мусорную свалку. Этот человек (опять указывает на невинный телевизор), этот человек получил в дар величайшую в мире любовь, а он отвечает жестокостью, эгоизмом и ненавистью. Художник должен нести ответственность, доктор Куммер, но *этот художник — моральная катастрофа*.

4

Спустя несколько недель.

Удивительный мир предстает на замызганном экране просмотровой. Кадр представляет собой помещение, в котором шестнадцать девушек по очереди раздеваются догола с шести утра до четырех ночи. Представление происходит в подковообразной комнате, ярко освещенной разноцветными софитами, стены покрыты дешевыми тканями, громадными веерами, порнографическими картинами, непонятными бамбуковыми палками и увядшими растениями. Потолок состоит из большущего окна, частично заколоченного плохо покрашенными деревянными досками, на полу — толстый, в пятнах ковер и пышные деформированные подушки. Два динамика оглушают современной поп-музыкой. Зрители находятся в маленьких закутках, окружающих сцену. Через узенькое окошко они могут следить за тем, чем занимаются девушки. Через минуту и сорок секунд падает заслонка, закрывая окошко. В этом случае клиент должен опустить монету в автомат, который размещается под окошком в его закутке. И заслонка поднимается еще на одну минуту и сорок секунд. Зрительские закутки герметически отделены от сцены и помещений, где обитают выступающие. Перед дверью, ведущей на сцену, сидит толстяк с фуражкой на голове. У его ног спит овчарка. В обложенном камнем вестибюле, расположенном этажом ниже, прямо под землей, сидит пожилая женщина с черными, расчесанными на пробор волосами и выцветшими глазами, завернувшись в потрепанную, некогда элегантную лисью шубу. Кроме билетов женщина продает фотографии выступающих, порнографические журналы и комиксы. Она беспрерывно курит.

Помещения девушек за закрытой дверью довольно внушительны. Один коридор идет от сцены в общую гримерную, ярко освещенную и перегретую отдельными электрическими обогревателями, прибитыми там и сям к стенам без окон. Перед гримерной есть квадратная гостиная с несколькими обшарпанными разномастными креслами и диванами. На полу — дешевый палас, в прежней жизни покрывавший какой-то другой пол. В углу стоит телевизор, который никогда не выключается. На двух столах громоздятся газеты и журналы, переполненные пепельницы, кофейные чашки и остатки еды в пластиковых пакетах. Низкий бетонный потолок и две галогенные лампы, не дающие тени. Справа и слева по коридору — несколько дверей в комнаты поменьше, которые девушки используют, когда у

них выпадают более длительные перерывы или когда они выполняют вторую часть своей профессии. В коротком поперечном коридоре по одну сторону помещается умывальня и уборная и еще одна комнатенка, выполняющая роль офиса (там есть место лишь для письменного стола, полки и двух стульев).

По другую сторону — вход, ведущий в сторону подвала, деревянной лестницы и на задворки. В коридоре тоже галогенная лампа и динамик, из которого гремит та же музыка, что и на сцене. У двери на сцену стоят два магнитофона и пульт управления софитами, но обслуживающий персонал, видимо, упразднили. Комнаты похожи друг на друга как тюремные камеры. Посередине, на застеленном ковром полу, стоит сравнительно большая кровать. У одной стены узкий комод или шкаф, у другой — умывальник и биде.

Судя по всему, первоначальные планы заключались в том, чтобы устроить здесь первоклассный бордель, но по разным причинам им не суждено было осуществиться, и помещения обветшали.

Итак, девушек шестнадцать штук, разного возраста и профессионального опыта, они на удивление хорошо сохранились, несмотря на напряженную работу. Некоторые даже красивы.

Почти три часа ночи. Несколько посетителей задержались у скромного бара в каменном вестибюле. Их обслуживает толстая девушка с обнаженной грудью и хлопотливыми материнскими жестами.

Петер Эгерман стоит в углу, глубоко засунув руки в карманы зеленого зимнего пальто. На темных волосах снег, лоб влажный. Охранник с лохматой овчаркой идет по узкому коридору между камерами и открывает двери. Музыка из динамиков бьет по ушам, собравшиеся возле бара о чем-то спорят, переходя на крик. В коридор выходят отдельные клиенты, похожие на тени в ярком цветном свете. Открывается дверь на улицу, и снег, кружась, ледяной струей врывается внутрь. Бар закрывается, клиенты расходятся. Девушка натягивает на себя блузку, спрятанную под прилавком. Ревут моторы машин, фары освещают цветные окна, скрипят подошвы по каменному полу, кто-то кашляет. Девушка из бара кивает, как знакомому, Петеру Эгерману и исчезает за закрытой дверью в конце коридора.

Теперь он остался один.

Он ждет.

И тут к его столику подходит охранник.

Охранник. Я говорил с фрёкен Якоби. Она готова остаться здесь до шести утра.

Петер. Спасибо.

Охранник. Вообще-то это запрещено.

Петер. Я знаю. Знаю.

Охранник. Правила безопасности. Пожарная страховка.

Петер. Разумеется. Я понимаю.

Он передает в руку охранника крупную купюру. Тот засовывает ее в карман и молча кивает в сторону запертой двери.

Охранник. Фрёкен Якоби в гримерной. Остальные девушки уже ушли. Не забудьте, что вы должны исчезнуть ровно в шесть. К нам частенько наведывается полиция, особенно по утрам. Менты, у которых ночное дежурство, и им хочется пропустить стаканчик и выпить чашечку кофе, прежде чем они разъедутся по домам и залезут в постель к своим женушкам. В полицейских рапортах это называется «рутинная проверка».

Петер кивает, гасит сигарету в переполненную пепельницу, охранник открывает дверь, и Петер оказывается в длинном коридоре за сценой. В ярко освещенной гримерной сидит фрёкен Якоби. На ней, кроме ожерелья из позолоченных металлических пластин с гравировкой и пары дешевых сережек, ничего нет, волосы собраны в небрежный узел на затылке, на одной ноге — туфля на высоком каблуке. Она усердно смывает с себя грим. Широкоскулое, с резкими чертами лицо и полные губы создают впечатление весомости. В жарком воздухе пахнет пылью, духами, потом и сигаретным дымом.

Ка. Это вы, господин Эгерман? Входите, я сейчас закончу.

Петер по коридорчику входит в гримерную. Садится на стул рядом с Ка.

Ка. Хотите вина?

Петер молча кивает, и она наливает ему бокал. Он опустошает его и неуверенно держит в руке.

Петер. Я бы предпочел видеть вас в гриме.

Ка. Ради бога.

Она сразу же перестает смывать грим и начинает накладывать новый.

Петер. Если вам это не трудно.

Ка. Вовсе нет. Лишь бы не возиться с ресницами.

Петер. Конечно.

Ка и Петер на какое-то время замолкают. Она наливает ему еще вина, он выпивает его одним глотком.

Ка. Здесь плохой воздух, верно?

Петер (пожимает плечами). Так себе.

Ка. Когда строили это здание, то забыли про вентиляцию. У нас и окон нет, поэтому, чтобы проветрить, приходится открывать дверь в подвал, что тоже глупо, поскольку этим путем сюда проникают весьма странные клиенты. Вы не снимете пальто, господин Эгерман?

Петер. Да, конечно.

Что он и делает. Обходит длинный гримерный стол с лампами и зеркалами, заваленный тысячами вещей, которые приносят и с которыми вынуждены жить шестнадцать девушек двадцать два часа в сутки. В конце коридора появляется охранник, он выключает магнитофоны и динамики, гасит свет на сцене (дверь на которую открыта), желает спокойной ночи, зовет собаку, захлопывает наружную дверь, натягивает меховую шапку и удаляется через входную дверь в подвал.

Тишина после звуков из динамиков оглушает.

Ка. Вам понравилось мое выступление?

Петер. Не особенно.

Он стоит перед ней по другую сторону стола и смотрит на нее, она подкрашивает щеки, делает вид, что очень занята.

Петер. Вы давно здесь работаете?

Ка. Три года. Когда я пришла сюда, здесь все было новеньким и чистеньким.

Петер. Хорошо платят?

Ка. Не жалуюсь.

Петер. Откуда вы?

Ка. Моя мать — датчанка. Она приехала сюда во время войны. Переезжала из одного города в другой. В конце концов мы очутились здесь. Мы работали на заводе громкоговорителей в Ludwigs Werke. Несколько лет назад мне это надоело, и я открыла собственное дело.

Петер. Сколько вам лет?

Ка. Догадайтесь.

Петер. Тридцать шесть.

Ка. Двадцать два.

Петер. Вы лжете.

Ка. Значит, лгу.

Петер. У вас есть еще вино?

Ка. Я не знала, какое вы предпочитаете — белое, красное или, может, игристое, так что я купила самые разные сорта. Бутылки стоят на полке у холодильника.

Петер устраивается в другом конце комнаты, подальше от убийственного света, берет бокал и вино, закуривает сигарету.

Петер. Вот так отлично. (Поднимает бокал.) Ваше здоровье.

Ка. Ваше здоровье. Вы извините, если я схожу в туалет?

Петер. Разумеется.

Ка, найдя вторую туфлю, удаляется в коридор, усаживается на стульчак, долго, с наслаждением писает, согнув спину и сжав бедра. Потом тщательно подтирается. Когда она спускает воду, ржавая труба издает мощный гул.

Ка. А зачем ты, собственно, пришел сюда?

Петер. А зачем, собственно, люди приходят сюда?

Ка. Ты немного странный.

Петер. Что ты имеешь в виду?

Ка. Что-то с тобой не так.

Петер. Неужели?

Ка. Ты что-нибудь наделал?

Петер (с мимолетной улыбкой). Не думаю.

Ка. Ты собираешься что-то сделать?

Петер. Я не понимаю, о чем ты.

Ка. Ты хочешь сделать мне больно?

Петер. Не бойся.

Ка. Одна из девушек предложила мне остаться и подежурить.
Может быть, с моей стороны было глупо отказываться.

Петер. Не волнуйся.

Ка. Все-таки что-то тут есть.

Петер. Что-то есть.

Ка. Ты напуган.

Петер. Психолог.

Ка. Это ирония?

Петер. Я почти всегда ироничен. Это своего рода инвалидность.

Ка. Здесь довольно неудобно. Пошли в какую-нибудь другую комнату?

Петер не отвечает, только кивает. Ка достает из шкафа ключ и отпирает дверь справа по коридору. Приглашает Петера Эгермана войти.

Петер. Это твоя комната?

Ка. Я здесь принимаю клиентов.

Петер. Чудовищно жарко. Можно открыть окно?

Ка. Здесь нет окон.

Петер отдергивает занавеску, за ней — искусственное окно.

Петер. Я не могу тут находиться.

Ка. Можно пройти на сцену, если хочешь. Там намного просторнее и приятнее.

Ка останавливается у маленького пульта слева от входной двери, зажигает разноцветные лампы, трогает какие-то рычажки, чтобы приглушить свет, включает магнитофон, устанавливая более тихий звук, чем раньше.

Петер. Кстати, а как тебя зовут?

Ка. Ка.

Петер. Но это же, наверное, сокращение.

Ка. Вообще-то меня зовут Катарина.

Петер. Как мою жену.

Ка. Забавно. Ты хотел что-то сказать?

Петер. Ты меня неправильно поняла недавно. Твое выступление мне кажется довольно глупым и скучноватым. Зато ты сама привлекательна.

Ка (смеется). Привлекательна.

Петер. Сядь там, в другом конце, чтобы я мог тебя видеть.

Ка. Ты не желаешь ко мне прикоснуться?

Петер. Делай, как говорю.

Она послушно и чуточку неловко встает, идет в противоположный конец сцены и садится на низкий стул, покрытый куском грязного бархата в тон занавесям. Магнитофон играет, цветные лучи софитов образуют крестообразный рисунок в пыльном нагретом воздухе.

Ка (с долей презрения). Так устраивает?

Петер. Лучше встань.

Ка выполняет просьбу, она отвернулась, лицо замкнуто. Она стоит, прислонившись к стене, рука на бедре, пьет вино.

Ка (тем же тоном). Теперь нормально?

Петер. Посмотри на меня!

Ка (смотрит на него). Ну?

Петер. А разве другие мужчины не просят тебя делать гораздо более неприятные вещи?

Ка. Это хуже.

Они враждебно разглядывают друг друга. Петер сидит, откинувшись, в прежней позе, он поднял правую руку, легонько прижав два пальца к губам. Непрерывно играет музыка, но тихо.

Ка. Я знала, что с тобой что-то не так. Поняла сразу, как тебя увидела.

Петер. Все пути отрезаны.

Он встает, чуть пошатываясь (почти целая бутылка красного вина), качает головой и усмехается. После чего оставляет ее там, где она стоит в тусклом пыльном свете, оставляет ее, отыскивает свое пальто и надевает его, взглядом ищет перчатки.

Ка. Ты уходишь?

Петер (не отвечает).

Ка. Не понимаю, почему я так разозлилась.

Петер. Все пути отрезаны. Я говорю это не из жалости к себе. Это констатация факта.

Ка. Почему ты так странно разговариваешь? Сними хоть пальто. К чему нам стоять здесь и обсуждать все это.

Петер, качая головой, высвобождается. Быстрыми шагами направляется к двери в подвал и пытается открыть ее. Она заперта изнутри.

Ка. Я же сказала, что эта дверь всегда заперта.

Не слушая ее, Петер сразу же идет к главному входу. Дверь заперта, ключа нет.

Ка (со смехом). Тебе придется остаться.

Его прошибает холодный пот, он садится на стул возле двери и несколько раз проводит рукой по лицу. Ищет сигарету.

Ка. Идем, здесь холодно и противно. Хочешь, сварю тебе кофе?

Петер. Спасибо.

Он встает, он измучен, ему плохо, стоит в нерешительности. Ка берет его за руку и ведет в гостиную, усаживает в облезлое грязное кресло.

Петер. Свет режет глаза. Нельзя погасить?

Ка. Мы жаловались, но всем плевать на то, что мы говорим.

Она хлопчет у плитки. Петер курит. Магнитофон играет, но звук еле слышен.

Петер. Чем это пахнет?

Ка. Разве чем-нибудь пахнет?

Петер. Да, пахнет.

Ка. Здесь внизу всегда чем-нибудь пахнет. Гримом, табачным дымом, потом, пылью, духами. Когда у нас засоряется уборная, воняет дерьмом. Еще чем-нибудь пахнет?

Петер. Не знаю. Это мне просто кажется.

Ка. Чем?

Петер. Чем-то сладковатым. Какой-то гнилью.

Ка. У меня, наверное, испортилось обоняние, я ничего не ощущаю. В детстве мама возила меня к своим родителям в Данию. Я до сих пор помню, как пахли времена года. Теперь я такого не чувствую.

Петер. Времена года?

Ка. Зима пахла снегом, угольными печками и мокрыми варежками. Лето пахло морем, водорослями и муравейниками. Весна — растаявшей водой в глубоких канавах, распустившимися березовыми веточками и дождем. Но лучше всего была осень...

Она прерывает себя на полуслове. Петер сидит с закрытыми глазами, скорее всего, он спит. Ка осторожно заканчивает возиться с чашками и кофеваркой, садится на табуретку, снимает туфли и громадные серьги, расстегивает ожерелье с позолоченными металлическими пластинами.

Петер. Почему ты замолчала? Я не сплю.

Ка. Кофе готов. Прошу.

Петер. Спасибо.

Ему протягивают фаянсовую кружку, и он пьет крепкий кофе. Ка сидит на низенькой табуретке, упершись локтями в колени.

Ка. Почему бы тебе не снять пальто? Здесь ведь довольно жарко, правда?

Петер. Ага.

Он поднимается и ставит кружку на столик, заваленный журналами с картинками. Начинает снимать тяжелое зимнее пальто, но вдруг останавливается. Ка помогает ему, его лицо — после короткого сна — сильно побледнело, выражение болезненно отсутствующее. Ка расстегивает ему рубашку и снимает ее.

Петер. Я устал.

Ка поднимает свою крупную сухую ладонь и проводит ею по его глазам, жестом, в котором проскальзывает внезапная, неуклюжая нежность.

Ка. Сейчас ты поспишь.

Петер. Нет. Не здесь.

Ка. Идем.

Она берет его за руку и ведет к сцене. И снова гладит ладонью по лицу.

Чернота.

Конец.

Неуверенно зажигаются бордельные бра просмотровой.

Из машинного отделения доносится бормотание.

Анна ищет что-то в своей папке.

Альберт Куммер смотрит в потолок.

Альберт. Попросите киномехаников говорить потише!

Анна (звонит). Эй! Привет! Вы не могли бы говорить потише.

Спасибо. Большое спасибо.

Альберт (внезапно смеется). О господи. (Пауза.) Господи.

Анна. Откровенно говоря, я не понимаю смысла этой сцены.

Альберт. А вам и не надо этого понимать, фрёкен Бергман. Ничемные усилия.

Анна. В таком случае есть ли смысл продолжать работу?

Альберт. Я предприниматель, но у меня есть одна слабость: я люблю искусство. Иногда я люблю и художников. Это не проходит безнаказанно, и в первую очередь не бесплатно.

Анна. Значит, мне следует продолжать?

Альберт. По двум причинам, фрёкен Бергман. Во-первых, меня страшно интересуют эти семьсот бобин. Мне все время чудится, что я заглядываю в мозг сумасшедшего человека, а это, я вам скажу, чертовски любопытно. Марко подарил мне переживание. Основанное, правда, на весьма разнородных компонентах, но все равно это переживание. А в моем возрасте следует радоваться возможности испытывать переживания.

Анна. У вас были две причины, господин Куммер.

Альберт. Вы внимательно слушаете мою болтовню. Да, существует еще одна причина, почему я хочу завершить эту работу, и она имеет отношение к вам.

Анна. Ко мне?

Альберт (радостно). К вам, фрёкен Бергман.

Анна. И?

Альберт. Шестьдесят лет назад у моей сестры Топси был жених-швед. Он был непревзойденный кулинар и научил ее кое-чему. Поймите меня правильно, фрёкен Бергман. Вместо того чтобы лежать в постели, прилагая бесполезные усилия, их любовь выражалась в бесподобнейших кулинарных блюдах. Их — извините — оргазмы принимали форму головокругительного суфле, их любовные игры превращались во вкуснейшие супы. Уж не говоря об их рагу, бифштексах и рыбных запеканках!

Анна. Я с удовольствием пришла бы к вам на ужин.

Альберт. Моя сестра Топси просила вам передать, что сегодня она приготовила шведский гороховый суп с гренками и свиной. А запивать мы его будем горячим пуншем, который она получила в подарок от здешнего консула. На десерт — блинчики с вареньем.

Куммер помогает Анне надеть ее элегантную, прямого покроя, дубленку. И когда она собирается повернуться к нему и поблагодарить за помощь, он обнимает ее сзади, она не двигается с места, не пытаясь ни высвободиться, ни ответить тем же. Он долго стоит, держа ее в объятиях. Потом опускает руки, но продолжает стоять.

Альберт. Простите меня.

Анна. Ничего страшного.

Альберт. Я просто не мог сдержаться.

Анна. Это было хорошо. Мне понравилось.

Альберт (берет себя в руки). Тогда пошли.

Анна. Да, тогда пошли.

Альберт. Знаете, сейчас я слышу, как он смеется.

Анна. Кто смеется?

Альберт. Марко, разумеется. Он смеется над нами.

Фрёкен Топси Куммер на цыпочках вносит в столовую большую супницу с дымящимся гороховым супом. Анна и Альберт уже сидят за столом.

Топси. Дорогие друзья, прошу вас извинить меня, что я сегодня с вами ужинать не буду. Полли нездоровится.

Альберт. Как жаль. А что с ней?

Топси. Ее обычная депрессия, конечно. Она все время плачет и ругает весь свет.

Она начинает разливать духовитый суп. Альберт наполняет стаканы из изящного старомодного графина.

Анна. Можно мне навестить фрёкен Куммер?

Топси. Нет, дорогое дитя. Лучше этого не делать. У нее в последнее время развилось настоящее старческое слабоумие. Может, у нее был инсульт?

Из темной прихожей раздается вдруг голос Полли. Она похожа на шаткое привидение, одной рукой опирается о дверной косяк, другой — придерживает потрепанный халат.

Полли. Топси, немедленно иди ко мне.

Топси (гримасничает). Конечно, милая Полли, я сейчас приду.

Полли. И не клевети на меня.

Топси. Вовсе я не клевету на тебя.

Полли. У кого это, между прочим, был инсульт, да позволено мне будет спросить? У тебя или у меня?

Топси (еще одна гримаса). Мне лучше идти. (Идет, поворачивается.) Кстати, фру Бергман звонил какой-то господин.

Анна (в ужасе). Когда?

Топси. Вроде час назад. Я спросила, с кем имею честь говорить, но он не ответил. Голос был не очень приятный.

Анна. Он что-нибудь еще сказал?

Топси. Оставил номер телефона. Он на столе у Альберта.

Полли (сердито). Ты когда-нибудь пойдешь?

Топси. Да, да, старушка. (Альберту и Анне.) Приятного аппетита. (Полли.) Идем, Полли, увидишь, какие замечательные телячьи фрикадельки я тебе приготовила, ты ведь их любишь, правда?

Старушки, болтая, удаляются. За столом воцаряется краткое молчание. Альберт поднимает бокал, пытаясь улыбнуться.

Анна. Вы не обидитесь, господин Куммер, если я позвоню по этому номеру?

Альберт. Нет, нет. Я пока подогрею суп.

Анна сразу же обнаруживает записку на столе и набирает нужный номер. Раздаются гудки, идущие в никуда. Она выжидает — не менее десяти гудков. Ее лицо выражает сперва напряженность, потом разочарование и растущее негодование. Она медленно кладет трубку и застывает у стола, смотрит в окно, на заснеженный тихий парк, в котором выгуливают своих собак несколько припозднившихся гуляющих.

Альберт стоит в тени, горит лишь зеленая настольная лампа.

Альберт (осторожно). Никто не отвечает?

Анна (едва слышно). Никто не отвечает.

Альберт. Кто, по-вашему, звонил?

Анна (тихо). Не знаю. (Пауза.) Я не знаю.

Альберт. Может, наш друг Марко Хоффманн.

Анна (тихо). Может быть.

Альберт. Вы все время о нем думаете, да?

Анна. Вовсе нет.

У Альберта эта очевидная ложь вызывает легкую усмешку. Он подходит к ней, делая несколько бесшумных шагов по густому ковру.

Альберт. Может, это ваш муж звонил?

Анна. Мой муж?

Альберт. Ну да. Господин Бергман.

Анна. Ах, этот!

Альберт. Простите, но теперь я ничего не понимаю.

Анна. Его никогда не существовало.

Альберт. Не существовало?

Анна. Нет, я просто спешно его выдумала.

Альберт. Вот как. Гм-гм.

Анна. Я немножко боялась, что вы будете приставать ко мне.

Вот и выдумала себе мужа.

Альберт. Так. Значит, так. Ловко.

Анна. Продолжим наш прерванный ужин?

Альберт. Анна, я хотел бы спросить вас кое о чем.

Анна. Да?

Альберт. Не согласились бы вы выйти замуж, я имею в виду, за меня?

Анна. Я подумывала о таком варианте.

Альберт. Разве это так глупо? Вы сказали, что я вам не противен. Нам хорошо вдвоем, на самом деле. Ведь нам хорошо вдвоем, правда?

Анна. Конечно.

Альберт. Я, разумеется, не красавец, весьма неуклюжий и не особенно привлекательный. Я понимаю, что молодая красивая женщина должна испытывать некоторое отвращение к человеку с такой внешностью, как у меня...

Анна. ...вовсе нет.

Альберт. Я знаю, что я старомоден и немного смешон. Я живу здесь с моими развалинами-сестрами, да благослови их Господь! Собственно, я по-другому никогда и не жил. Если вы выйдете за меня замуж, Анна, я все изменю, клянусь. Мы купим большой красивый дом с садом и бассейном и парочку замечательных машин, найдем прислугу, милых, воспитанных людей из Югославии.

Анна. Мне уютно здесь.

Альберт. Да, что я собирался сказать. Я богат, Анна. Я действительно несметно богат. Подумайте об этом.

Анна. Я думаю.

Альберт. Вы будете надежно обеспечены до конца жизни. Нутром чувствую, что это не тот аргумент, который может соблазнить молодую женщину.

Анна. Не будьте так уверены, доктор Куммер.

Альберт. Ваша профессия останется при вас, если вы того пожелаете, ничего не изменится, никто не покусится на вашу личную жизнь, Анна! Я прошу лишь, чтобы вы несколько лет прожили со мной. Подумайте о наследстве. У меня нет никаких родственников, кроме этих мумий, которые, наверное, скоро умрут. Вы станете обладательницей огромного состояния, Анна. Вы унаследуете заводы, земли, дома, два замка, у вас будет неограниченная власть. Я знаю, что вы распорядитесь всем этим наилучшим образом. Вы умная девушка, великолепный человек, и я бесконечно вас люблю.

Анна. Бесконечно?

Альберт. Вы смеетесь надо мной. «Бесконечно», наверное, слово банальное. Наверное, вся ситуация банальная, конечно, банальная. Но Анна, дорогая Анна, в жизни бывают ситуации, решающие мгновения, когда можно позволить себе быть банальным.

Анна (серьезно). Вы абсолютно не банальны, господин Куммер.

Альберт. Тем лучше. Я знал, что вы не замужем. Разведал. Еще я знаю, что вы страшно одиноки. У вас есть кое-какие подруги, но они замужем, и у них — дети, вы иногда встречаетесь с мужчинами, заигрываете с ними, чтобы отогнать одиночество на пару часов или дней.

Анна. И все это вам известно, доктор Куммер?

Альберт. Да, я знаю о вас все, не обижайтесь, Анна. Я был очень тактичен в своих расспросах. Уже в первый день, когда мы работали вместе, я решил спросить вас, не хотите ли вы выйти за меня замуж. (Пауза.) Больше мне сказать нечего. Возможно, я все испортил. (Пауза.) Скажите что-нибудь, Анна.

Анна. Я, правда, не знаю, что сказать.

Альберт. Нам же необязательно принимать решение сегодня.

Анна. Необязательно.

Альберт. Пожалуй, мне следует признаться, что я понимаю ваши чувства к Марко.

Анна (качает головой).

Альберт. Не хочу показаться бестактным, Анна.

Анна. Вы вовсе не бестактны.

Альберт. Я знаю, где Марко.

Анна (беззвучно). Нет.

Альберт. Я написал ему и попросил, чтобы он вам позвонил и сказал, что больше не будет видеться с вами.

Анна. Нет.

Альберт. Это так.

Анна. Но почему...

Альберт. По-моему, он в ужасном состоянии, пьет беспробудно. Он попросил меня с уважением отнестись к его исчезновению. Я его друг, Анна. Что мне делать? У меня нет выбора.

Анна. Он болен?

Альберт. Он говорит, что наконец-то живет по правде, не важно, что он этим хочет сказать. И я уважаю желание человека погубить себя.

Анна. Где он?

Альберт. Этого я сказать не могу.

Анна. В таком случае, доктор Куммер, мы никогда больше не будем иметь никаких дел друг с другом.

Альберт. Кто дал вам право мешать человеку, который сбежал от вас и вашей реальности?

Анна. Он не может так поступать со мной.

Альберт. У него есть полное право защищаться от ваших уговоров и эмоционального вымогательства. У него нет ни малейшего повода выполнять ваши требования.

Анна. Я ничего не требую.

Альберт. Анна! Вся ваша юная персона представляет собой одно великое требование к человеку в его положении. В этом человеке кроется чудовищная ненависть, и эта ненависть будет направлена на вас, если вы вздумаете искать его и пытаться уговорить сделать то или иное.

Анна. Я отказываюсь. Отказываюсь соглашаться с вашим с Марко дерьмовым, сентиментальным, пораженческим евангелием. Ничего глупее не слышала. Я собираюсь отыскать его. Я узнаю, где он, я узнаю, что с ним. Я знаю, что найду его. Для меня эта ситуация не настолько щепетильная и сложная. Человек, который спивается, болен. Больному надо помогать, независимо от того, как ты к нему относишься. Человек может раскаяться, обрести новые силы и желание жить. Такое случается весьма часто. Происходит всегда. Не существует ничего необратимого.

Альберт. И Анна Бергман уходит. (Грустно улыбается.)

Анна. Да, уходит.

Альберт. А фильм?

Анна. Я его закончу, как и обещала.

Альберт. Тогда до свидания, Анна.

Анна. До свидания.

5

ИНТЕРМЕДИЯ

Это было в то время, когда боги все еще ходили по земле. Доверие между людьми и высшими силами никем не нарушалось, и свято признавалась их взаимозависимость.

Филемон и Бавкида поженились совсем молодыми, переехали из общины и построили, с помощью родственников, маленький хутор у моря. Вокруг дома простирались каменистые поля, карликовые леса и заболоченные луга, где паслись овцы. Бедность сменилась скромным достатком, обитатели отдаленного хутора пользовались уважением. Потом начались великие войны, сыновья исчезли и не вернулись. Девушки повыходили замуж, и их мужья забрали их в новые поселения или доставшиеся в наследство поместья.

Филемон и Бавкида остались одни, они постарели и уставали как никогда прежде. И хотя они работали с утра до вечера, их хутор постепенно приходил в упадок, не слишком заметно, но все же. Они сами видели происходившие изменения, но были не в силах что-нибудь сделать. В доме было так же уютно и чисто, и сами они тщательно следили за собой. Дальние поля вновь заросли, их захватили сосняки, дворовые постройки начали разрушаться, коньки крыш ломались от снежных заносов, двери повывивало на вечном сквозняке, каменный фундамент осел. Но с жилым домом было все в порядке, Филемон трудился в поте лица, чтобы поддерживать его в достойном виде, а Бавкида помогала ему во всем. Они были очень гостеприимными людьми. Проходившие мимо путники охотно останавливались там и вели беседу с хозяевами, прежде чем продолжить свой путь. Никто не слышал, чтобы супруги когда-нибудь ссорились. Правда, их считали немного необычными, даже странноватыми, и тем не менее ставили в пример молодому поколению.

Ясным, чуточку прохладным весенним вечером, когда ветер дул с моря и слышался шум прибрежного прибоя, Филемон чинил калитку, которая сломалась зимой. Бавкида была в хлеву, она доила своих двух коров. Солнце, далеко за горизонтом, окрашивало все в цвета расплавленного золота. Резко пахло водорослями, которые Филемон разбросал на свои худосочные клочки земли. Высоко в безоблачном, почти бесцветном небе замерла хищная птица. Бавкида вышла во двор с ведром парного молока, по-

ставила свою ношу на пригорок и, прикрыв глаза рукой, вгляделась в даль. Он крикнула Филемону, что видит путника на дороге. Старик, тут же бросив молоток и гвозди, близоруко прищурился, глядя на изгиб дороги. (Это была не особо широкая дорога, скорее тропинка, которая, извиваясь, вела к обширному каменистому берегу.) Он убедился, что Бавкида права. Как раз у развилки, ведущей к их хутору, стоял высокий человек в дорожном платье и большой серой шляпе с широкими полями. Он осматривался, казалось сомневаясь в чем-то. Филемон спросил его, не ищет ли он кого, и вышел на дорогу, закрыв за собой калитку. Он подошел к незнакомцу, который вежливо с ним поздоровался и сразу объяснил, что, вероятно, заблудился. Он собирался попасть в деревню до наступления темноты. Филемон протянул руку и поздоровался. Незнакомец от всей души ответил тем же. Потом они оба несколько минут молча постояли, наблюдая, как Бавкида медленно поднимается в дом со своим тяжелым ведром. Море шумело, ветер был пронизывающий. Тускло светила лунная дорожка на волнующейся воде. По мнению незнакомца, ночью выпадет снег, хотя на дворе уже давно стоял май. Филемон ответил, что весна оказалась на редкость затяжной и холодной. Лед тянулся на море до самого горизонта. Незнакомец поинтересовался, доволен ли Филемон своим овечьим стадом. О да, вполне. Все овечки принесли приплод по два барашка. Правда, из-за метелей и холода самые слабенькие сразу же померли, но это было только на пользу. Потом Филемон неожиданно спросил, не хочет ли незнакомец войти и отдохнуть, может, он голоден и был бы не прочь перекусить. Незнакомец поблагодарил, и они направились к хутору.

Бавкида уже накрыла на стол. Она разогрела густую уху, кроме того, имелся черный хлеб и сыр. Она угостила незнакомца и душистым пивом, которое сварила сама. Незнакомец снял с себя тяжелое пальто и шляпу, поставил посох в угол и сел за стол. Ели молча.

Внезапно незнакомец спросил, живут ли старики одни на хуторе. Филемон ответил, что так оно и есть. Дочери нашли себе мужей в дальних краях. А оба сына ушли на великую войну.

Когда они поели, в кухне с ее белыми оштукатуренными стенами, цветными занавесками и огромной печью все еще было светло. Свет заходящего солнца сочился сквозь маленькие окошки, образуя таинственные узоры. Несмотря на это, Бавкида по-

ставила на стол свечи. Мужчины закурили трубки, незнакомец угостил хозяина табаком, а Бавкида принесла еще пива.

Холодный ясный весенний день незаметно погас, над горизонтом появился молодой месяц, и овцы задремали под высокой каменной стеной усадьбы.

Незнакомец спросил, не трудно ли двум старикам справляться с хозяйством, не получая никакой помощи. Филемон ответил, что пока еще сил хватает, но их беспокоит будущее. У него в последнее время совсем стало плохо с глазами, и кроме того, все время болят плечи и спина. Жена, конечно, здорова, но нельзя же все заботы перекладывать на ее плечи. И еще Филемон добавил, что они с женой прожили счастливую жизнь и, несмотря на одиночество, у них в жизни было много чему радоваться. Бавкида улыбнулась, похлопала мужа по руке, потом встала и взяла свое рукоделие. Какое-то время они сидели молча, слушая, как гудит ветер в дымоходе и бьется о рифы море. «Смерть, — вдруг произнес Филемон голосом, удивившим его самого. — Должен сказать, что смерть нас не слишком страшит. Одно только тяжело и жестоко — что один из нас умрет раньше другого. Одному из нас придется в одиночестве бродить по этому хутору и думать про другого. Странно себе такое представить. Мы прожили вместе, да, сколько лет? Пятьдесят два года? Бавкида кивнула. «Пятьдесят два года, — озабоченно повторил Филемон. — Пятьдесят два года мы спали каждую ночь в этой постели. Люди могут срастись друг с другом, это не так уж обычно, насколько я вижу и понимаю, но такое случается. И в таком случае несправедливо и жестоко, что люди, прожившие бок о бок почти всю жизнь, должны разлучаться, это неправильно». Незнакомец разжег трубку просмоленной палочкой, которую ему протянула Бавкида. Он кивнул: да, это жестоко — разлучать двух людей, которые так долго прожили вместе душа в душу. «Мы и думаем одинаково, — сказала Бавкида с улыбкой. — Стоит ему начать говорить о чем-нибудь, а я уже знаю, о чем, и подсказываю верное слово. Нам никогда не бывает скучно вместе, — продолжила она. — Большинство людей надоедают друг другу, а мы нет». Филемон попытался произнести нечто важное, несколько раз собиравшись с духом, но так и не решился. «Ты хочешь что-то сказать», — проговорил незнакомец, поглядев на Филемона с внезапной улыбкой на своем умном, немного холодноватом аристократическом лице. «Это мелочи, — выдавил наконец Филемон,

словно все этим и объяснив. — Речь все время идет о *мелочах*, одна накладывается на другую, за долгую жизнь накапливается множество всяких мелочей». Голоса зазвучали более взволнованно, разговор пошел громче обычного, но, может, это было под влиянием темного пива. «Разрешите мне взглянуть на ваши ладони», — неожиданно и требовательно произнес незнакомец.

Филемон и Бавкида пришли в смятение от этой просьбы. Наверно, такое желание они сочли не совсем подходящим. Но тем не менее послушались и положили руки на стол: Филемон — правую, а Бавкида — левую. Незнакомец бережно взял их в свои крупные теплые ладони и начал рассматривать их с удивительным интересом. Закончив изучение, он серьезно кивнул, словно бы утвердительно. «Но Рай — это нечто совсем особенное, — сказал он наконец. Рай — лучше, прекраснее и красивее любого другого места на земле. Там люди встречаются после смерти и могут не разлучаться на веки вечные. Там светло и тепло, не болят ни плечи, ни спина, и не надо носить тяжелые подошники».

«Красивая картина, — ответил Филемон, с озабоченным видом глядя на незнакомца. — Мы с женой старались утешить себя мыслью о вечной радости, но все равно пребываем в растерянности и угнетенном состоянии души. Нам не нужны свет и тепло там, по другую сторону, мы хотим ветра и моря, наших обнесенных камнем хуторов, которые мы построили вместе со своими сыновьями. Мы не представляем себе ничего лучшего, чем этот остров, этот берег, птичье пение весной и зимнюю вьюгу над крышами». «Говорят, мы сможем увидеть лик Бога, — внезапно произнесла Бавкида, покраснев от дерзости своего предположения. — Так говорят, и, конечно, это должно быть великое чудо, в этом я не сомневаюсь. Но мне и вот ему (она энергично показывает на мужа) больше всего хотелось бы стоять на этом пригорке и смотреть на наш берег и наше море, хотя это всего лишь камни и вода. Такие вот мы неблагодарные».

Незнакомец внимательно слушал. Он сидел, наклонившись вперед, опираясь локтями о стол, его трубка погасла, пальцем он водил по прожилкам темного дерева. Потом, подняв голову, начал внимательно разглядывать хозяев. «Я пришел из очень дальних мест, — сказал он. — Нам мало что известно о вашей жизни здесь, на острове. Мы много слышали о тех тяготах, которые испытывает здешний народ. Бедная негостеприимная природа, нужда, жестокость и несправедливости. И мне стало

любопытно. Неужели правда, что у вас такая горькая судьба? Теперь я совершил длительное путешествие и много чего увидел». «И к какому же выводу ты пришел?» — с любопытством спросил Филемон. «Не знаю, — ответил незнакомец, горестно покачав головой. — Я не знаю. Я опечален и сбит с толку». «Ты, наверное, устал после столь долгой дороги», — сказала Бавкида, прикоснувшись к рукаву незнакомца. «Возможно, — ответил он, посмотрев на Бевкиду, — но моя усталость мало что значит в этой ситуации».

Свечи почти догорели, и в просторной кухне стало сумеречно, за оконцами стояла ясная и холодная майская ночь, ветер стих, но прибой шумел по-прежнему.

«Может, я ошибаюсь, — проговорил незнакомец, склонив голову на руки. — Может, не хватает чего-то очень важного. Люди вынуждены жить в большой бедности, с которой надо справляться, пока не поздно». «Что значит — пока не поздно?» — спросил, нахмурившись, Филемон. «Я говорю сам с собой, — уклончиво ответил незнакомец и улыбнулся. — Я не привык сидеть вот так и вести подобные длинные беседы с добрыми друзьями. С годами мне стало немного одиноко». Поскольку у стариков было чувство, будто незнакомец говорит сам с собой, они сочли бестактным что-либо отвечать и спрашивать. — Я совершил множество ошибок, — внезапно произнес незнакомец, и среди всех этих теней в его тихом голосе прозвучала угроза. «Я совершил множество ошибок, великие эксперименты требуют жертв, это вполне естественно, с этим приходится считаться». «Может, тебе не следовало совершать это путешествие», предположил Филемон, которому поведение незнакомца начало казаться странным. «Тогда бы я не встретил вас, — рассмеялся незнакомец. Он потянулся и зевнул. — А сейчас, думаю, пора отдохнуть, — добавил он. — Вы не могли бы одолжить мне одеяло, я посплю на полу или на лавке. На вашем сеновале слишком сквозит, а мне не хотелось бы простудиться». «Ты ляжешь в нашу постель, — сказала Бавкида. У нас есть матрас, на котором мы спим, когда приезжает кто-нибудь из детей». «Этого я сделать не могу, это действительно чересчур великодушно», — запротестовал незнакомец. «Коли моя жена что-то решила, то спорить бесполезно, — отозвался Филемон. — Ты будешь спать в нашей постели. Она довольно удобная. Одна только проблема — твои длинные ноги». «Мы поставим стул в изножье», —

приняла решение Бавкида. Так и было сделано.

Они пожелали друг другу спокойной ночи, погасили свечи, и комната наполнилась нежным трепетным светом. Это был ранний рассвет перед восходом солнца. «Ветер повернул к югу, — сонным голосом сказал Филемон. — Вот и хорошо, значит, пойдет дождь, последний месяц стояла засуха». «Дождь уже идет, — отозвалась Бавкида. — Послушай!» Они прислушались. С крыши раздавалось тихое шелестение. «Действительно, идет дождь», — сказал Филемон. Наступила тишина, потрескивали угли в печи, дождь шуршал по окнам и крыше. Серый свет задрожал и изменился. Внезапно незнакомец сел в постели так, что кровать затрещала. «У вас есть какое-нибудь желание?», — настойчиво спросил он. «Ничего, что бы ты мог исполнить», — ответил Филемон. «Скажите, чего вам хочется больше всего на свете», — упрямо повторил незнакомец. Бавкида села, сложив руки на коленях. «Ты знаешь, чего мы хотим», — сказала она спокойно. «Это правда, — отозвался незнакомец и снова лег. — Я знаю, чего вы хотите больше всего на свете».

Они успели поспать всего пару часов, когда незнакомец разбудил их. На нем уже было его тяжелое пальто. «Мне надо уходить», — сказал он. «Но подожди, — отозвалась Бавкида, еще не совсем проснувшись. Я приготовлю тебе чего-нибудь горяченького. Не можешь же ты отправляться в столь дальний путь натощак». «Я пробыл здесь слишком долго, мне надо идти», — повторил незнакомец. «В любом случае я провожу тебя до большака, чтобы ты не заблудился и дошел до деревни», — произнес Филемон, натягивая сапоги. «Очень любезно с твоей стороны, — сказал незнакомец, — но незачем. Я пойду другой дорогой». И вот они стоят там все трое. Уже совсем рассвело, дождь стучит по окнам и крыше. «Мне тяжело расставаться с вами, — серьезно сказал незнакомец и кивнул. Потом он взял их за руки. — Вы хотите всегда жить вместе на этом самом месте?, — спросил он, глядя на них. Они подтвердили, что именно таково их желание. — Тогда идемте», — проговорил незнакомец, выводя их во двор. Южный ветер нагнал тучи, было промозгло и пасмурно, мягко шумел дождь. Пахло влажной землей и морем. Незнакомец отвел стариков на середину двора и поставил лицом к лицу. «Теперь закройте глаза, — велел он, — обнимите друг друга и стойте так, что бы ни случилось». Взяв их за плечи, он подвел их вплотную друг к другу, потом одним движением, нажав на за-

тылки, свел вместе их лбы. После чего распахнул свое коричневое пальто и повесил им на плечи. «Что делаешь с нами?», — спросила Бавкида, но в ее голосе страха не было. «Не размыкайте объятий, что бы ни случилось, — приказал незнакомец с такой решительностью, что старики не посмели и слова вымолвить. — Сейчас я превращу вас в дерево, — сказал он повелительно. — Я превращу вас в дуб с двумя стволами. Ветки будут соприкасаться, корни уйдут глубоко в землю, и он всегда будет стоять здесь и смотреть на берег и море. Птицы станут вить гнезда в тенистой листве, а у подножья забьет ключ. Дуб будет стоять здесь веки вечные, и люди станут строить дома, жить и умирать возле этого дерева».

Незнакомец постоял немного в задумчивости, с его большой шляпы капал дождь. Затем он крепко схватил свой посох и вышел в калитку, вверх по пригорку. На развилке он оглянулся, чтобы посмотреть на свое творение. Из земли вздымался громадный дуб с двумя стволами, и его тяжелые ветви переплетались под порывами резкого южного ветра. В кроне дерева он разглядел тонкую сетку вновь распутившихся листочков. Незнакомец глубоко вздохнул, испытывая печаль и удовлетворение, и двинулся по извилистой каменистой тропинке.

Плотно прижавшись к обоим стволам, можно было услышать, как переговариваются старики. «Вот негодник, — рассмеялся Филемон. Не услышав ответа от жены, он боязливо спросил: — Тебе ведь хорошо?» «Очень даже, — ответила Бавкида чуть озабоченно. — Мне так хорошо, как никогда раньше не было». «Почему же у тебя такой жалостный голос? — спросил Филемон. — Вместо этого надо чувствовать благодарность». «Я благодарна, — горестно ответила жена, — я только все время думаю, кто будет доить коров».

Еще до того, как зажегся свет, Альберт Куммер встал и застегнул шубу, которую не снимал во время всего показа (хотя в комнате было жарко). С суетливым видом он поспешно направляется к двери.

Альберт. Марко, стало быть, хочет сказать, что вся эта история связана с остальным материалом. Ничего не понимаю.

Анна. Я тоже не понимаю, что он имеет в виду.

Альберт. Кстати, вы его нашли?

Анна (печально). Нет, не нашла.

Альберт. Я вечером еду в Париж, а потом в Лос-Анджелес.

Анна. Тогда до свидания, доктор Куммер. Счастливого пути.

Альберт. До свидания, фрёкен Бергман. И удачи в работе. Сообщите, когда у вас будет еще что-нибудь показать.

6

В глубине самого большого зала только что построенного отеля идет подготовка к завтрашнему показу мод. На подиуме, идущем через весь зал, тренируются девушки под руководством терпеливого, благожелательного хореографа с тихим голосом. Пианист покорно отбивает одни и те же такты. Дамы и господа избранного общества пребывают в состоянии лихорадочного, но контролируемого возбуждения. Разговоры ведутся в дружеском и коллегиальном тоне. Речь, вероятно, идет о демонстрации летних платьев, купальников и всего такого. Проверяют работу прожекторов. Расставляют стулья. На одну из темно-блестящих стен зала крепят яркий абстрактный гобелен. За огромными окнами царит зимний день, снег не прекращается ни на минуту. В этом организованном хаосе в глубоком кресле сидит Катарина Эгерман, положив ноги на низкий столик. Она усердно работает с фломастером и альбомом. Она чертит, объясняя что-то стареющему и несколько покачивающемуся молодому человеку в цветных очках, с седыми как у луны волосами. К ним медленно приближается Петер. Он нетерпеливо смотрит на часы.

Катарина. Вот так должно быть, а не так. Ты исправишь это к завтрашнему дню, правда, мой милый?

Милый. Никаких проблем, Катарина. Ты звонила в Милан?

Катарина. Я позвоню Беттине вечером. Только она может сказать, куда все подевалось. Всю прошлую неделю продолжалась забастовка, но Беттина обещала послать одну партию датским чартерным самолетом, который должен был прилететь вчера, но опоздал из-за пурги. Ты говорил с Паулем?

Милый. Говорил десять минут назад. Он с восьми утра сидит на таможне. И не видел никаких следов самолета, и никто ничего не знает.

Катарина. Во всяком случае, деньги мы отсылать не будем. (Видит Петера.) О господи, уже пора. Сколько времени? Мои часы, наверное, остановились или отстали. Я сейчас приду. Тебе пришлось ждать? Здесь сплошной хаос. Четверть коллекции не пришла. Что ты на это скажешь? До свидания, милый.

Она быстро встает, целует на прощание седого человека и собирает свои вещи. Петер помогает ей надеть легкую теплую

шубку. Катарина машет рукой, прощаясь с девушками, хореографом, пианистом, журналисткой, фотографом и еще с несколькими важными персонами. Они спешат к лифту, который, на счастье, как раз остановился. Из него решительно выходит молодая крепкая женщина, которая тащит за собой большой, специально сконструированный чемодан. За ее спиной виднеется один из носильщиков отеля.

Катарина. А вот и ты. Ты все взяла?

Секретарша. Нет, остальное через минуту принесет Пауль. Таможня сегодня выказала особое рвение. Привет, Петер. Вы уходите?

Катарина. Мы должны быть на идиотском ленче у матери Петера. Жена премьер-министра желает обсудить со мной свой гардероб. Петер от этого так возбудился, что приказал мне идти с ним. Мы здорово опаздываем. Пока, милочка. Вернусь, как только смогу смыться отсюда.

Автоматическая дверь лифта нетерпеливо бьет носильщика по спине. Наконец они начинают спускаться. Катарина в ярости, но настроение задорное.

Катарина. Мне надо выпить.

Петер. Мы уже опаздываем.

Катарина. Мне надо выпить.

Петер. Выпьешь, когда мы приедем.

Катарина. Мне надо выпить чего-нибудь крепкого, чтобы выдержать столкновение с этими людьми. Пожалуйста, Петер, милый. Мы забежим в бар. Это займет всего пару минут.

Петер смиряется, пожимает плечами и сдерживает желание посмотреть на часы.

Петер. Фрейд утверждает, что отсутствие пунктуальности есть признак подавленной агрессивности.

Катарина. У меня она не подавлена.

Петер. В отличие от меня.

Катарина. У тебя невроз пунктуальности.

Петер. Именно поэтому.

Катарина. Этого я не понимаю.

Петер. Ничего страшного.

Они поспешно проходят внушительного размера холл, находят бар, в котором в этот час уже полно народу. Катарина машет кому-то, кого она знает, без очереди получает свою выпивку и пьет не садясь. Петер ничего не хочет, несмотря на неоднократные приглашения, он мучительно курит сигарету. Катарина расплывается, внезапно у нее поднимается настроение, она берет Петера под руку и тащит его к парковке. И наконец они в дороге.

Катарина ведет машину с сигаретой в зубах. Петер внимательно разглядывает ее, можно сказать, изучает. В машине царит раздражение, смешанное с веселостью.

Петер. Я сейчас размышляю над тем, как бы тебя описал романист. «Ей около сорока. В густых черных волосах проглядывает седина. Высокая, полная, движения мягкие, но решительные».

Катарина. «Черты лица свидетельствуют о начинающемся алкоголизме, властолюбии и страстной вульгарности».

Петер. «детской уязвимости и лукавой хитрости».

Катарина. «необыкновенном уме»

Петер. «короче говоря, изысканная баба»

Катарина. «мучающая своего утонченного мужа»

Петер. «который понапрасну пытается удовлетворить ее капризы и безумные потребности».

Катарина. Что было бы намного легче сделать, если бы он сосредоточился на своей жене.

Петер. Это неправда.

Катарина. Вместо того чтобы расточать свои таланты на юных актрис и художниц.

Петер. Это неправда. Эротика возникает из эротики. Воздержание приводит к импотенции. У тебя есть причина жаловаться?

Катарина. Паника! Паника!

Петер. Это всего лишь стратегия.

Катарина. В стратегии должна быть цель. Я не вижу никакой цели.

Петер. Цель — быть в хорошем настроении.

Катарина. Не напрягайся, милый.

Петер. Я в постоянном напряжении. Порой мне кажется, что в

этом заключается моя единственная задача в жизни. Я хочу сказать, поддерживать хорошее настроение у моей удивительной, громогласной, разрушительной жены, дабы она не сокрушила весь окружающий мир.

Катарина. Окружающий мир? Что это за чертово выражение?

Петер (злобно смеется). Сокруши тогда меня. Если это больше подходит.

Катарина. Мой бедный маленький Петрушка. Ты же знаешь, что для тебя я единственная женщина.

Петер. Именно поэтому мне приходится наверстывать упущенное с другими девушками.

Катарина. В качестве утешения, когда Катарина бывает гадкой.

Петер. Не совсем так.

Катарина. Сейчас проявится хорошо подготовленная злость.

Петер. Я смогу проглотить ее.

Катарина. У тебя живот заболит.

Петер. Соотношение, Катарина!

Катарина. Соотношение? Что за соотношение?

Петер. Мне нужно восстановить соотношение.

Катарина. Между собой и действительностью. Неужели ты ощущаешь себя настолько ничтожным? Не знала.

Петер. У меня достаточно веры в свои силы, но есть два обстоятельства, важных обстоятельства, которые заставляют меня чувствовать свою беспомощность. Одно из них — ты.

Катарина. А второе?

Петер. Смерть, Катарина.

Они оба смеются. Наконец они у цели.

Красивый, но несколько обветшалый замок Шарлотты Эгерман окружен неухоженным парком, перерезанным извилистыми каналами. Там и сям в снежной метели мерзнут мраморные статуи, разбросанные в разных местах небольшие беседки качаются под белыми покрывалами. У ворот на посту стоят два полицейских, которые вежливо просят показать приглашения, за кустами прячется наполовину видимый автомобиль с рацией. Справа от входа в замок припарковались пять-шесть лимузинов. Одетые в ливреи шоферы разговаривают, спят, читают газеты, едят принесенные из дома припасы или просто сидят. Еще две полицейские машины въехали на лужайку возле лестницы. Их команды вооружены до зубов. Показав в очередной раз приглашения, Петер и Катарина наконец-то

входят в холл, где их приветствует веселая, траченная молью дама, говорящая на диалекте. Она забирает у них верхнюю одежду, сообщает, что все уже собрались, щиплет Петера за щеку и говорит, что тот похудел и стал похож на бледную тень. Катарина уверяет, что это ее вина, но старушка-горничная отвечает, что не желает даже слышать таких глупостей, потому как малышу Петеру не могло достаться лучшей жены. Катарина причесывается перед огромным барочным зеркалом. Петер вытирает лицо и поправляет галстук, по темному, сидящему как влитой костюму проходят щеткой, Катарина кисло бросает, что здесь будет жуткая скука, Петер отвечает, что сейчас ей дадут выпить, и они направляются через большой сумеречный зал по скрипящему паркетному полу, отливающему темным блеском, в круглый салон, залитый светом бра, люстр и канделябров. Они тотчас же подходят к Шарлотте и извиняются за опоздание. Петер целует мать в губы, Шарлотта сердечно обнимает невестку, хваля ее прекрасное платье. Катарина отвечает комплиментом на комплимент, берет в руки бокал и словно преобразается. Место кислой мины заменяет дружеская улыбка и нежность. Петер — сплошные улыбки, уважительные, товарищеские, насмешливые улыбки.

Премьер-министр Зигфрид Бауэр быстро встает со своего глубокого кресла и оставляет общество, с которым он беседовал. Это высокий человек лет шестидесяти с красивым открытым лицом, теплыми карими глазами и густыми ухоженными волосами без единого проблеска седины (умело покрашенными). Он сердечно улыбается Петеру и Катарине, пожимает им руки. Глазами он сразу же раздевает красивую женщину. (Она не остается равнодушной.)

Бауэр. Тридцать два сорок пять шестьсот десять восемьдесят шесть семьсот двенадцать восемь триста двадцать двенадцать!
Альберт (голос). Что это за чертовщина?

Кадр останавливается, движения замирают, теперь они стоят там — Зигфрид Бауэр, его похожая на Юнону жена Хильдегард, Петер и Катарина. Они неподвижно застыли на освещенном экранчике монтажного стола. С некоторым хлопком зажигается лампа, жужжит мотор, потрескивают динамики. Альберт смотрит на экран, смотрит на Анну.

Альберт. Что это, черт возьми, означает?

Анна. Марко не нашел актера на роль премьер-министра. Однажды он обедал в маленьком ресторанчике в Копенгагене. Там и обнаружился его премьер-министр.

Альберт. Официант?

Анна. Метрдотель. Марко, не раздумывая ни минуты, нанял его, пообещав астрономический гонорар.

Альберт. Если бы я об этом знал...

Анна. Мы звонили как сумасшедшие, но вы не отвечали, доктор Куммер. Вы что, забыли?

Альберт. Но парень не умеет говорить!

Анна. Марко нужна была его внешность. Он строит мины и перечисляет числительные, так что губы двигаются. Марко собирался позже взять актера с подходящим голосом, который продублировал бы реплики.

Альберт. А эти реплики записаны?

Анна. Нет.

Альберт. Господи. Помогите мне, несчастному. Господи.

Анна молча рассматривает застывшее изображение. Марко (как черный расплывчатый дух) только что вбежал в правый угол кадра. Он весел, энергичен, вытягивает правую руку в сторону метрдотеля или премьер-министра. На голове вязаная шапочка с покачивающимся пером, похожим на антенну. Альберт тяжело вздыхает и вдруг начинает смеяться, качает головой и смеется.

Анна. Будем продолжать?

Альберт. Обязательно, черт побери. Мне в жизни никогда не было так весело.

Анна запускает аппарат, он, поскрипывая, продолжает крутиться, лампочка над монтажным столом гаснет. Петер целует руку Хильдегард Бауэр, величественной особе со следами некоей боязливости в одежде и поведении.

Бауэр. Тысяча два пятьдесят один тысяча триста четырнадцать семнадцать пять шестьдесят шесть! (Пауза.) Сорок семь сорок восемь пятьдесят пятьдесят три пятьдесят четыре восемьсот тридцать шесть?

Петер. С большим удовольствием.

Катарина. Охотно, доктор Бауэр.

Бауэр. Пятьсот тридцать шесть пятьсот тридцать семь!
Окружающие смеются.

Итак, это одна из знаменитых вечеринок Шарлотты Эгерман. Гостям предлагается хорошо продуманное, изысканное меню, интересные беседы и немножко культуры в виде домашнего концерта, декламации или театрального спектакля. Знаменитости встречаются со знаменитостями, приглашения почетны, звезды льстят сами себе и другим одним своим присутствием. В центре, само собой разумеется, Шарлотта Эгерман, последний осколок разрушенного и исчезнувшего мира.

Гостей немного, но это сливки общества. Кроме премьер-министра доктора Зигфрида Бауэра, его похожей на Юнону супруги Хильдегард, Петера (хозяйского сына) и Катарины, присутствуют барон Виланд фон Сак, много лет являющийся председателем «Людвиг Верке», и его жена Карла, круглолицая и веселая матрона из Италии. «Людвиг Верке» представляет также Артур Бреннер, исполнительный директор, худой, спортивного склада господин, всегда загорелый, прячущий свое высокомерие за толстыми стеклами очков и угодливыми манерами. Его жена Марта — педиатр и активный политик, но поскольку она молода и поразительно красива (третья жена), ее выходы сходят ей с рук. Профессор Гарри Гессрайтер — старый друг Шарлотты, давно овдовевший, несколько сгорбленный и неухоженный, но его терпят, так как в свое время он поделил с кем-то Нобелевскую премию. Джорджио Каваллини только что прибыл в город из Нью-Йорка с успешных гастролей в «Метрополитен». Он немедленно подхватил жестокую простуду, и маэстро этим чуточку обеспокоен, поскольку в воскресенье он должен петь Дон Жуана в Национальном театре. Но пропустить из-за этого вечер у Шарлотты совершенно немыслимо. Его жена Эльза на несколько лет старше своего знаменитого красавца. Она отличается невероятной худобой, кожа да кости, у нее короткая стрижка и детский профиль. За стеклами очков — прищуренный умный взгляд голубых глаз. Доктор Карл-Август Пильтц — главный редактор ведущей городской газеты, известный любитель искусства и женщин, человек в самом расцвете лет на пути к политической карьере, на вид добрый, любезный и мужественный. С ним его супруга Эва, у нее тяжелая форма рака — ходячий скелет, ярко покрашенная, в парике и с наклад-

ными ресницами. Она часто и хрипло смеется, непрерывно курит, а глаза напоминают холодные черные угольки.

Среди горностаев затесались три кошки: Фердинанд Дёрфлер, выдающийся модельер и сценограф, который помогал Шарлотте с устройством праздника и костюмами к спектаклю и его друг Макс Грубер, танцовщик Национального театра, лишенный таланта и обладающий только красотой, в скором времени он выходит на пенсию — эти два господина, несмотря на безупречные костюмы и хорошие манеры, несколько выпадающие из рамок, пришли в компании женщины, заметно нарушающей общий стиль: Эрики Эрнст, проститутки. Каким образом эта представительница мира за пределами Вероны сумела проникнуть в салон Шарлотты Эгерман, остается загадкой для всех. Никому и в голову не пришло, что старая актриса (с большим опытом тоскливого совершенства) сознательно приправила состав своих гостей этой слишком юной, слишком галантной дамой, подружкой танцора — железное алиби для постоянных любовных путешествий пожилого сценографа и стареющего танцора. Красивая секретарша Юдит и ее молодой Ариэль (без смущения не сводящий глаз со своего идола) дополняют это общество, которое с благовоспитанными перешептываниями входит в столовую с высокими сводчатыми потолками, где шесть нанятых по такому случаю слуг под недовольным присмотром пожилого метрдотеля подают благоухающий суп из омаров. Благодаря высоким окнам с цветными витражами зимний день остается за стенами замка. Рассеянный свет огромной металлической люстры и серебряных канделябров окутывает комнату в мягкие светлые тона. Надежность, порядок, красота. Как ни странно, но все это заканчивается кровавым хаосом.

Говорит премьер-министр, нет, он не произносит речь, он читает лекцию, сидящие неподалеку гости замолкают, вынуждены слушать. Благородное лицо доктора Зигфрида Бауэра изменяется, на лбу вздувается жилка, взгляд затуманивается, он ощеривается, употребляя безумные и саркастичные выражения. Все больше гостей прекращают собственные разговоры, лица поворачиваются к оратору, выдающийся политик увлек публику, суп из омаров остывает.

Альберт (вне кадра). Вы убрали звук, фрёкен Бергман.

Анна. Нет никакого смысла его оставлять. Он просто перечисляет цифры. Время от времени Марко велит ему изме-

нить выражение лица. Пленка у меня с собой, если вы хотите ее послушать.

Альберт. Нет, нет, ради бога.

Анна. У меня есть еще кое-что, что может представиться интересным. Подождите минутку, я быстренько прокручу.

Кадры несутся с утроенной скоростью, премьер-министр продолжает говорить, гости слушают с разной степенью заинтересованности. Потом появляется лицо Петера крупным планом. Анна останавливает прокрутку, аппарат вновь со скрипом послушно возобновляет свои привычные двадцать четыре кадра в секунду: крупный план слушающего Петера.

Анна. Я нашла пленку с инструкциями Марко, которую я наложила на этот кадр.

Марко (обращаясь к Петеру). По-моему, как раз в этот момент Петер решает убить премьер-министра доктора Бауэра. Возможно, да почти наверняка, Петер восхищается им, но внезапно его охватывает непреодолимая ненависть. Вызванная не тем, *что* Бауэр говорит, а тем, *как* он это говорит.

Петер. Не понимаю.

Марко. Петер — человек не самостоятельный и поэтому склонный к цинизму. Ему в общем-то безразлично, какие догмы проповедует Бауэр. У него самого нет никаких идеалов, его политические симпатии определяются пользой. Он — прагматик до мозга костей. (Резко.) *Петер ненавидит Бауэра потому, что он вынужден его слушать!* Он ненавидит его за то, что тот имеет власть над мыслями и чувствами гостей. Он в бешенстве, потому что у Бауэра громкий, звучный голос, Петеру невыносим этот человек, потому что ему не надо слушать, потому что он хитер, беззастенчив и компетентен. И у Петера появляется непреодолимая потребность заглушить эту громоподобную канонаду!

Петер (упрямо). Но я не смогу сделать эту сцену, не зная, о чем говорит Бауэр.

Марко (нетерпеливо). О чем он говорит? А мне откуда знать, это не важно.

Петер. А мне важно.

Марко. Ради бога. Предположим, он цитирует Иммануила Канта, который утверждает, что право и этика не имеют

ничего общего друг с другом. Он, возможно, утверждает, что самое глубокое и само собой разумеющееся чувство права кроется в отдельных индивидах, а не в законодательных актах. Он говорит, быть может, что тот, кто, например, желает убить террориста собственными руками, имеет на это право, поскольку это в высшей степени соответствует представлениям простого человека о справедливости. Он провозглашает, может быть, свое внутреннее убеждение, говоря, что правовое сознание народа связано с условиями его жизни, а не с закодированными текстами в пыльных сводах законов.

Петер. Если он утверждает это, его следует расстрелять.

Марко (смеется). Подожди! Возможно, он утверждает нечто совсем противоположное. Он борется за объективную справедливость, чистую незапятнанную справедливость. Он настаивает, что фундаментальные своды законов являются выжимкой глубинного сознания человеческого духа, что они выражают вечную мечту о балансе между потребностью и удовольствием. Он, быть может, объясняет, что демократия — это единственная общественная формация, которая правдивее и больше, чем отдельный человек, и что правовое государство в первую очередь обязано оберегать самоопределение индивида. Он отбрасывает тезис Канта и называет его фашистским могильщиком социалистических идей.

Петер. Теперь у меня в голове полный сумбур.

Марко (смеется). Слушай его голос и его интонацию. Почувствуй свою *беспомощность*.

Петер. Беспомощность? Я же правая рука исполнительного директора. Я не должен чувствовать себя беспомощным, ничего не понимаю.

Марко (с внезапной яростью). Если ты так плохо разбираешься в своей роли, тебе не следовало ее брать.

Петер. Я согласился сыграть роль, которая была в сценарии, но мы не следуем этому сценарию. Я мог бы уйти завтра же, нет, сию минуту, и подать на вас в суд за нарушение контракта, господин Хоффманн. Я не желаю, чтобы на меня орали. Я самостоятельный, думающий человек, я требую объяснения того, что я делаю. Я не марионетка, как некоторые другие.

Марко (кричит). Идемте обедать!

Пленка продолжает крутиться, теперь в кадре старый придворный театр. Сейчас антракт, как раз перед пятым актом «Бури» Шекспира. Занавес опущен, зрители тихо переговариваются. Они сидят на полукруглых скамейках без спинок, обитых бархатом. Повсюду горят бра, их свет отражается в высоких зеркалах, находящихся в просветах задрапированных стен и отделанных под мрамор колонн. На разрисованном потолке мерцают пять небольших хрустальных люстр. Занавес, на котором изображен классический пейзаж, обрамленный цветочными гирляндами, ярко освещен колеблющимся светом сценической рампы. В двери, ведущей на сцену, появляется Юдит и с улыбкой сообщает, что все готово.

В тот момент, когда поднимается занавес, исполнительный директор «Людвигс Верке» Артур Бреннер наклоняется к Петеру и шепчет, что премьер-министр приглашает их встретиться в здании правительства завтра в десять, вместе с бароном фон Саком.

И вот занавес поднят. Шарлотта в своем великолепном плаще исполняет роль Просперо. Юный Валентин стоит рядом в одеянии Ариэля. Декорации старые и живописные, представляют гористый берег и волнующееся море.

Просперо

Мой замысел уж близок к завершенью.
Власть чар сильна, покорно служат духи.
И колесница времени как должно
Везет свой груз. Скажи, который час?

Ариэль

Шестой. Ты говорил мне, повелитель,
Что кончишь в шесть часов свои труды.

Просперо

Я так определил еще тогда,
Когда впервые вызвал эту бурю.
Что делают сейчас король и свита?

Ариэль

Они, как пленники, не могут выйти
Оттуда, где оставлены тобой.

Освободить их можешь только ты.
Как мучатся от чар твоих они!
Взглянув на них, ты сам их пожалел бы.

Просперо

Ты полагаешь?

Ариэль

Будь я человеком,
Мне было бы их жаль.

Просперо

И мне их жалко.
Уж если их мученьями растроган
Ты, бестелесный дух, то неужели
Я, созданный из плоти, как они,
Кому близки их чувства и желанья,
Не буду сострадательней, чем ты?
Хотя обижен ими я жестоко,
Но благородный разум гасит гнев
И милосердие сильнее мести.
Освободить ты должен их. Заклятье я сниму,
И возвратится снова к ним рассудок.

Ариэль

Лечу приказ исполнить, повелитель.

Ариэль-Валентин быстрым шагом покидает Просперо-Шарлотту и останавливается в темноте за нарисованным задником, слушает, голова опущена, руки вытянуты по бокам. Мелькают несколько актеров в фантастических костюмах, они кажутся нереальными, они недвижимы, слушают.

Просперо

Вы, духи гор, ручьев, озер, лесов!
И вы, что охотитесь, следов не оставляя,
Вы, крошки эльфы, что при лунном свете
В незримой пляске топчете траву,
Которую потом обходят овцы!
Вы, по ночам растящие грибы,

Хотя вы не сильны, но все же
Лишь с вашей помощью затмил я солнце,
Мятежный ветер подчинил себе,
В лазурь небес взметнул зеленый вал
И разбудил грохочущие громы.
Стрелой Юпитера я расщепил
Его же гордый дуб, обрушил скалы,
С корнями сосны вырвал я и кедры.
По моему велению могилы
Послушно возвратили мертвецов.
Все это я свершил своим искусством.
Но ныне собираюсь я отречься
От этой разрушительной науки.

Небольшой ансамбль, состоящий из лютни, флейты, гобоя и виолончели, начинает играть медленную торжественную мелодию. В темноте актеры бесшумно, словно призраки, приходят в движение. Ариэль-Валентино поворачивается к свету и смотрит на Просперо.

Просперо

Сломаю я свой волшебный жезл
И схороню его в земле.
А книгу утоплю на дне морской пучины,
Куда еще не опускался лот.

Просперо-Шарлотта падает на колени, перед ней с трудом и скрипом раскрывается театральный люк, из черной дыры несет ледяным холодом.

Там, внизу, мелькают две руки, это реквизиторы осторожно принимают волшебный жезл и большую книгу с магическими знаками. В какой-то момент Шарлотте кажется, что она видит в темноте бледное милое лицо Конрада, она чувствует секундное головокружение, отворачивается и упирается ладонями в широкие темные доски сцены. Актриса тут же берет себя в руки и встает. Медленно выходит на сцену Ариэль-Валентин. За ним следуют Алонсо, Себастьян и Антонио. Они, словно зачарованные, вступают в круг, очерченный Просперо. Музыка меняется — далекая нежная мелодия. Просперо-Шарлотта смотрит на своих актеров с пылким волнением.

Просперо

Торжественная музыка врачует
 Рассудок, отуманенный безумьем.
 Сознание возвращается к безумцам,
 И полноводный разума поток
 Вновь затопляет илистое русло.

Внезапно старая дама поворачивается с лукавой улыбкой к своему Ариэлю-Валентину.

Просперо-Шарлотта

Теперь домой, в Милан,
 Где о своей могиле буду размышлять.

На лицах актеров отражается молчаливое недоумение. Шарлотта не обращает ни малейшего внимания на их беспокойство. Валентин в ответ тоже улыбается, как будто он все понял. Актер, играющий Алонсо, все же пытается сказать свою реплику.

Алонсо

Жду твоего рассказа с нетерпением,
 Он, верно, слух наш прикует к себе.

Просперо-Шарлотта не сразу отвечает, она по-прежнему улыбается Валентину, словно забыв, где находится. Алонсо делает неуверенный жест, и она тут же поворачивается к нему.

Просперо-Шарлотта

Ах, да. Простите. Я забылась
 (Громко). Все расскажу я вам. И обещаю:
 Под вами будет море безмятежным,
 Попутный ветер паруса надует.

Потом опять поворачивается к Ариэлю-Валентину, делает шаг в его сторону, поднимает правую руку, словно собираясь к нему прикоснуться, но рука бессильно падает.

Просперо-Шарлотта (Ариэлю)

Исполни это, мой крылатый друг, —
 И ты свободен! Возвратись к стихиям.
 Прощай! Прощай!

Ариэль издает странный крик, поднимает руки над головой и бросается на задник, изображающий море, которое поглощает его. Просперо-Шарлотта с поклоном поворачивается к своим актерам.

Просперо-Шарлотта
Друзья, прошу сюда *.

Все уходят со сцены. Занавес опускается.

Гости в маленьком салонном театре сердечно аплодируют. Однако среди зрителей возникает некоторое недоумение: что случилось с эпилогом Просперо? Может быть, актриса опустила половину пятого акта? Что-то произошло? Появляется фрёкен Юдит, юная секретарша Шарлотты, и говорит, что у фру Эгерман легкое недомогание, ничего страшного. Профессор Хессрайтер сразу же поднимается на сцену и идет за Юдит. Остальные гости тихо переговариваются, покидая театр.

Фру Эгерман сидит в кресле в глубине сцены. В руке у нее бокал вина, она в прекрасном настроении, отмахивается от столпившихся вокруг нее актеров. Задник со скалами и морем исчезает в темноте колосников, открывая все пространство сцены, на заднем плане возле круглой стены стоит Валентин. Многочисленные ramпы окутывают сцену сонным светом без теней. Профессор Хессрайтер спрашивает, как дела. Шарлотта отвечает, что чувствует себя превосходно, предлагает артистам побыстрее переодеться, поскольку она собирается угостить их всякими вкусностями, оглядывается в поисках Валентина, замечает его, стоящего у стены, и знаком велит ему подойти.

Шарлотта. У меня немного закружилась голова, ничего особенного. Поэтому я пропустила все скучные объяснения и сразу же произнесла последнюю реплику. Не беспокойся, Гарри, иди лучше и позаботься о моих гостях. Скажи им, старая дама через минуту придет в себя. Со мной останется господин Валентин, он поможет, не так ли?

Она берет молодого человека за руку и крепко сжимает ее. Профессор Хессрайтер, Юдит и Петер вместе с остальными, не имеющими к делу персонажами удаляются. Теперь на сцене Шарлотта Эгерман наедине с Валентином.

* Перевод М. Донского.

Шарлотта. Я забыла текст, когда упала на колени.

Валентин (не отвечает).

Шарлотта. Никогда не могла играть с суфлером.

Валентин. Я тоже.

Шарлотта. Вот как, и вы тоже?

Валентин. Но все это было грандиозно.

Шарлотта (улыбаясь). Хотела бы я сказать то же самое.

Валентин. Не понимаю.

Шарлотта. Знаете, господин Валентин. Когда я, стоя там, произносила свой монолог, меня смущал писклявый злой голос, который непрерывно шептал мне на ухо.

Валентин. Что шептал?

Шарлотта (улыбается). Не те зрители, не та пьеса, не та актриса. Ну, идемте.

Где-то около пяти вечера гости начинают расходиться. Катарина возвращается к своей репетиции, Петер сопровождает премьер-министра и его супругу в их черном блестящем лимузине, за которым следует полицейский автомобиль. Рядом с шофером сидит телохранитель.

Хильдегард Бауэр. Ваша мать действительно великая актриса, господин Эгерман. Великая актриса и чудесный человек. Да, да, время бежит. Я помню, как мы восхищались ею, часами ждали у служебного входа, чтобы хоть одним глазком увидеть ее после спектакля. Мой муж был послан в Англии в пятидесятых годах, и она приходила к нам в гости. Мы сдружились на всю жизнь, правда, Зигфрид?

Зигфрид Бауэр (кивает). Семьдесят пять восемьсот тринадцать.

Хильдегард. Как прекрасно наслаждаться ее искусством. Вы спешите, господин Эгерман?

Петер. Нет, вовсе нет.

Хильдегард. В таком случае вы должны пойти с нами на наш урок.

Петер. Урок?

Хильдегард. Мы с Зигфридом и с нашим сыном берем уроки по стрельбе из пистолета, три раза в неделю. Ну, не забавно ли?

Петер. А это необходимо?

Хильдегард. Мы должны уметь защитить себя. Наш сын, естественно, просто в восторге. Полицейский утверждает, что он

необыкновенно талантливый стрелок, ему бы следовало выступать на Олимпийских играх.

Петер. Сколько лет вашему сыну?

Хильдегард. О, ему всего двенадцать, так что, пожалуй, он еще несколько юн. Главное, чтобы у молодежи были какие-то интересы. У вас такая прелестная жена, господин Эгерман.

Петер. Катарина — очаровательная женщина.

Хильдегард. Мы с ней обо всем договорились. На следующей неделе мы обсудим с ней мой гардероб, у вашей жены есть масса идей. А завтра я пойду на показ ее коллекции. Вы тоже там будете?

Петер. К сожалению, никак не смогу. Доктор Бауэр обещал принять «Людвигс Верке» в десять часов.

Зигфрид. Пять четырнадцать восемь двенадцать десять!

Петер. Очень любезно, что доктор Бауэр захотел потратить на нас свое драгоценное время.

Хильдегард. Зигфрид говорит, что вы — баловень судьбы, господин Эгерман.

Петер. Руководство предприятия оказывает мне большое доверие.

Хильдегард. Ваша карьера предопределена в такие молодые годы — какие чувства у вас это вызывает?

Петер. Чувство огромной ответственности.

Хильдегард. Мой муж часто говорит, что вам следовало бы посвятить себя политике, господин Эгерман. Он считает, что у вас было бы блестящее будущее.

Петер. Доктор Бауэр слишком льстит мне.

Хильдегард. Как бы то ни было, вы должны посмотреть, как Вольфганг обращается с оружием.

Петер. Он всегда вооружен?

Хильдегард. Мы всегда вооружены, господин Эгерман.

Петер. Вам никогда не бывает страшно, фру Бауэр?

Хильдегард. Ко всему привыкаешь.

В самом нижнем подвале полицейского управления располагаются ярко освещенные тоннели стрельбищ. Вольфганг — тощий двенадцатилетний подросток, одетый в свитер и джинсы. Волосы подстрижены по последней моде, у него отцовские живые карие глаза. Полицейский чин помогает родителям освободиться от верхней одежды. Зигфрид Бауэр снимает с себя пид-

жак, проверяет свой заряженный пистолет, который он держит в кобуре под левой подмышкой. Пистолет фру Хильдегард появляется из ее изящной сумочки из крокодиловой кожи. Каждый получает наушники, доктор Бауэр и его жена занимают свои позиции, и под присмотром высокого полицейского чина начинаются стрельбы. Юный Вольфганг, обернувшись к Петеру, весело улыбается.

Просмотр окончен, зажигается свет, и Альберт Куммер встает из-за монтажного стола. Анна прокручивает пленку до конца и кладет ее в коробку вместе с магнитофонной лентой. В протоколе она своим аккуратным почерком записывает, что Альберт Куммер просмотрел номер такой-то и такой-то, ставит дату. Альберт уже надел шубу, в нерешительности стоит у дверей.

Анна. Доктор Куммер?

Альберт. Да?

Анна. Вы спрашивали, не хочу ли я выйти за вас замуж.

Альберт (нервно). Да, да!

Анна. Я долго думала над вашим предложением.

Альберт. Как мило с вашей стороны.

Анна. Я охотно выйду за вас замуж, доктор Куммер. Но только при одном условии.

Альберт. Я заранее согласен с этим условием.

Анна. Не будьте так уверены.

Альберт. Ну, говорите.

Анна. Вы должны сказать мне, где Марко.

Альберт. Это тяжелое условие.

Анна. Мне необходимо с ним поговорить.

Альберт. Я не могу.

Анна. Вот как. Не можете.

Альберт. Не могу. Тем самым я бы нарушил обещание, Анна.

Анна садится на стул у монтажного стола, ногтем указательного пальца скребет по ржавому пятнышку на металлической поверхности.

Анна (улыбаясь). В любом случае мы могли бы поужинать вместе.

Альберт подходит к ней и кладет руку ей на плечо.

Альберт. В последнее время я вдруг начал ощущать нежность ко всему, что происходит вокруг. Может, это старческий маразм, не знаю. Иногда это бывает мучительно, но чаще всего — как бы это выразиться — поднимает дух. Я не слишком сентиментален, Анна, не думайте, правда, пускаю слезу в кино, но это другое дело. Нет, я не сентиментален, я вижу все крайне отчетливо: ложь, обман, обезьянничество, как свое собственное, так и других. Но несмотря на это я способен проникнуться внезапной нежностью к человеку, который лжет мне прямо в глаза. Мне хочется обнять этого идиота, взять его на руки, носить его и говорить, чтобы он перестал болтать чушь. Я вовсе не делаю себе рекламу, вы не думайте, Анна.

Анна. Я и не думаю.

Альберт. Порой мной овладевает непреодолимое желание расхотаться, не потому, что жизнь уж очень смешна, нет, я так не считаю, напротив. Я смеюсь, потому что мне *нравится* эта жизнь, какой бы дурацкой она ни была. Раньше я всего боялся, Анна, это было почти невыносимо: кур, кошек, собак, еды, путешествий, открытых площадей, тесных лифтов, самолетов, болезней, газет.

Но больше всего я боялся людей. Теперь, на старости лет, страх испарился. Развеялся, как туча над морем, если мне будет позволено выразиться несколько поэтично. Представь себе, Анна, эта маленькая злючка, которую я повсюду возил с собой, эта холодная шлюшка...

Анна (после паузы). Да?

Альберт. ...жестокый звереныш, который ежеминутно пытался куснуть меня и завладеть моим имуществом. Весьма трогательно вообще-то. Марко с его чертовым фильмом — тоже трогательно. Какие старания, напряжение сил. Каждый метр, каждый кадр в этой бесконечной кавалькаде взывает к кому угодно: пойми меня, полюби меня, пойми меня. (Пауза; задумывается; булькает трубка.) Я где-то читал об одном поэте, который вечером напился. Он подошел к столу и начал писать, писал, не прерываясь, четырнадцать часов. Получился сборник стихов. Не перечитывая написанное, он отослал свое творение издателю, который спешно, не заглядывая в рукопись, переслал стихи в типографию. (Пауза.) По-моему, с Марко произошло то же самое. Он снимал все, что ему взбрело в го-

лову. Согласованный сценарий был отброшен, для него это был мертвый материал, множество раз переработанный и тщательно подготовленный. Все эти изысканные упорядоченные сцены стали ему безразличны, наводили скуку. Его тошнило от собственной художественной рассудочности. И тем не менее он вовсе не импровизатор, ни в малейшей степени. Он почувствовал страх и бессилие, когда ему пришлось принимать быстрые и неожиданные решения. Именно поэтому этот фильм столь безнадежен. Марко бросил вызов самому себе и потерпел неудачу. Он последовал за своим вдохновением, а вдохновение повело его не в ту сторону!

Анна. Я нашла чудовищный эпизод — он находился среди отбракованных материалов, я забыла про него — во время съемок я две недели болела. Это чудовищная сцена, и я не могу найти для нее места в фильме. *Если* она соответствует действительности, *если* это всерьез, а не только безумная причуда, тогда... Простите, что я так много говорю, сейчас я покажу вам эту сцену, доктор Куммер. Копия ужасная, вчера ночью я уронила всю пленку на пол. И мне понадобилось несколько часов, чтобы привести в порядок этот кошмар.

Медленно гаснет свет в легкомысленных бордельных бра просмотровой. С астматическим хрипом раздвигается занавес с золотыми кистями. Альберт Куммер, который сидел, наклонившись вперед, и разглядывал озабоченное лицо и карие глаза Анны, откидывается на спинку потрепанного кресла и зажигает трубку. Мелькают начальные кадры со злобными значками и цифрами, и после секунды полной темноты на экране возникает передержанный кадр, изображающий громадное здание больницы, раздается звук хлопушки, и камера резко панорамирует на двух мужчин, быстро идущих по песчаной дорожке, окруженной высокими оголенными деревьями. Один из них Петер Эгерман. Второй — его сверстник и друг, профессор, главный врач Мугенс Юханнесен. Они подходят к стоящему на отшибе дому, на опушке мрачного соснового бора. Высокая стена отделяет дом от извилистой асфальтовой дороги.

Мугенс. Раньше здесь жил вахтер. Когда главный вход перенесли в другое место, мы переделали этот дом в специальный павильон. Сейчас в нем находится только твой брат.

Профессор Юханнесен останавливается на лестнице и поворачивается к Петеру, вынув из кармана большую связку ключей, он ищет нужный.

Мугенс. Я не собираюсь запрещать тебе повидаться с братом, но должен тебя предупредить. Мы абсолютно бессильны. Он принимает успокоительные в таких количествах, которые в нормальных случаях сломили бы любое сопротивление, но, похоже, он совершенно невосприимчив к лечению. Его бешенство не поддается описанию. В промежутках между приступами он мыслит четко и ясно, в какой-то мере даже понимает, что болен. Мы понятия не имеем, что именно вызывает у него приступы агрессии. (Пауза.) Могу я спросить, почему ты хочешь его увидеть?

Петер. Он — мой брат. Близнец. Я не навещал его два года.

Мугенс. Тебе следует знать, что он рвет в клочки все, что ему попадает под руку. Когда предоставляется случай, избивает санитаров. Нам приходится держать его прикованным к кровати — и руки, и ноги.

Петер. Я знаю.

Профессор отпирает входную дверь, и они оказываются в узком тамбуре. Потом в прихожей без мебели с зарешеченными небьющимися окнами. Очень жарко, сильно воняет. Санитар отпирает дверь короткого коридора, здоровается с профессором и ошалело смотрит на Петера.

Мугенс. Это инженер Эгерман, а это господин Рут, единственный, у кого хватает терпения ухаживать за Антоном.

Рут. Близнец, да?

Петер. Хотя нас довольно легко можно было различить. По крайней мере дома. В школе было труднее.

Мугенс. Как дела?

Рут. Сегодня все было спокойно.

Мугенс. Оставайтесь в коридоре, пока инженер Эгерман навещает брата. Дорогой Петер, я прощаюсь, у меня через четверть часа обход. Если я тебе понадобится, то вечером я дома. Можешь звонить в любое время.

Друзья обмениваются рукопожатием, и профессор уходит. Санитар тем временем отпер дверь во внутреннюю комнату. Петер

входит. Квадратная камера достаточно просторна, около двадцати пяти метров, в центре массивный деревянный лежак, на нем лежит обнаженный мужчина, накрытый пластиковым покрывалом, руки и ноги прикованы железными цепями. Человек лежит неподвижно, с закрытыми глазами.

Рут. Прошу прощения за запах, иногда я протираю пол, поскольку уборщицы отказываются. Я стараюсь держать его в чистоте. Ему даже нравится, когда я мою и брею его, стригу волосы. Я не знаю, спит ли он, порой он притворяется. Не подходите слишком близко, он может убить вас, укусить или плюнуть в вас. Станьте вон там, тогда он увидит вас, когда откроет глаза. Он плохо переносит свет, поэтому у нас здесь так темно. Он реагирует на громкие звуки. Говорите потише. Я буду ждать в коридоре. Если что, сразу кричите.

Рут уходит, закрыв за собой дверь. Человек на лежаке тут же открывает глаза и улыбается Петеру.

Петер. Ты ведь на самом деле чувствуешь себя неплохо, да?

Антон. Здесь просто замечательно, сам видишь. Петер, у нас мало времени. Ты пришел сюда, чтобы занять мое место.

Петер (с издевкой). Как ты догадался?

Антон. В моем положении человек знает почти все.

Петер. Насколько понимаю, у тебя есть план.

Антон (с улыбкой). Конечно, очень простой.

Петер. Ну и?

Антон. У меня начнется приступ, ты позовешь этого услужливого идиота, который дежурит в коридоре. Когда он войдет, ты разобьешь ему голову, возьмешь его ключи, освободишь меня от цепей, а я надену твой костюм, ты ляжешь на мое место. Я пойду к профессору и скажу, что с Антоном случился приступ, и он убил беднягу Рута. (Другим тоном.) Нужно только проследить, чтобы Рут не успел нажать на кнопку тревожной сигнализации, она находится за дверью.

Петер. Ты пролежал здесь довольно долго.

Антон. Я выгляжу, как обычный человек, правда же?

Петер. Естественно. У тебя есть нос, рот и глаза, как у всех остальных.

Антон. Я поразительно похож на нормального человека.

Петер. Трудно что-либо возразить.

Антон. У тебя есть какие-нибудь инструкции?

Петер (с издевкой). Здесь в правом кармане пиджака ты найдешь конверт с подробными инструкциями. Ты всегда был изобретательнее меня.

Антон. Подойди поближе, Петер! Мне приходится все время поднимать голову, чтобы видеть тебя, а это тяжело.

Петер. Так хорошо?

Антон. Нет, еще ближе. Ты настоящий юморист, не так ли? Вот теперь я тебя вижу. Не наклоняйся так близко. Иначе я смогу до тебя дотянуться. А это было бы бедой.

Альберт и Анна вновь видят громадное здание больницы, по-прежнему снятое с передержкой, в кадре — спешно удаляющийся прочь человек. Шумят от ветра обнаженные черные деревья.

Альберт. Что еще такое, это конец?

Анна. Нет, есть еще одна сцена.

У прикованного человека приступ бешенства, он мечется, натягивает цепи, кричит и блюет.

Больничная парковка. Человек спешит прочь, идет к выходу. Качаются кроны деревьев, смеркается.

Прикованный человек ревет, выпучив глаза, дергает изо всех сил свои цепи, кусает до крови губы. Изображение темнеет и исчезает.

Альберт. Безумец на свободе? Теперь пленником стал Петер?

7

Артур Бреннер сразу понимает, что положение серьезное, что речь идет не о привычной ссоре. У Катаринины изможденное лицо, она плакала и, похоже, сильно напугана.

Катарина. Спасибо, что пришел. Я не знала, что делать, ты — наш единственный друг. Может, ты поговоришь с ним. Обычно его эскапады меня не беспокоят, но на этот раз — это нечто ужасное. Он стоит на крыше.

Это правда. Петер стоит на крыше, на пятнадцатом этаже, прямо над детской площадкой с качелями и песочницами. Он перелез через парапет террасы и выбрался на край крыши. Он бос, в пижаме.

Петер. Видишь ли, я должен был напугать Катарину, это было совершенно необходимо.

Бреннер. Разве ты уже не напугал ее до смерти?

Петер. Не знаю. Напугал?

Бреннер. Либо прыгай, либо спускайся, чтобы мы могли поговорить.

Петер. У тебя бывают приступы головокружения?

Бреннер. Мне становится плохо, даже если я всего лишь заберусь на стул.

Петер. У меня тоже кружится голова.

Петер начинает как-то на удивление автоматически раскачиваться взад и вперед, не отрывая глаз от простершейся у него под ногами бездны.

Бреннер. Прыгнуть — вполне достойно уважения. Но бесчеловечно и унизительно мучить таким образом своих родных.

Петер. Который час?

Бреннер. Половина шестого. Скоро тебя кто-нибудь заметит и вызовет полицию. Тебе холодно?

Петер. Да.

Бреннер. Можно я хотя бы принесу тебе шубу?

Петер. Да, большое спасибо.

Бреннер идет к Катарине и спрашивает, где шуба Петера. Она висит в прихожей; когда они приносят ее, Петер уже стоит в гостиной.

Петер (улыбаясь). Так легко тебе не отделаться, Катарина!

Укутавшись в шубу, он опускается в глубокое кресло, осматривается. У них красивый дом, целиком и полностью отмеченный чувством и вкусом Катарины. Она опускается на колени и начинает руками растирать его ледяные ноги.

Петер. Хороша девчонка, верно?

Он кладет ногу ей на плечо и с силой отталкивает. Она падает и в полном изнеможении остается лежать.

Петер. Послушай, Артур. По-моему, ты обещал нам коньяку, точно-точно.

Артур, который стоял, засунув руки в карманы шубы (он не успел снять ее), рассеянно кивает, идет к бару и наливает три бокала. Потом наклоняется к Катарине.

Бреннер. Сядь рядом со мной.

Катарина. Мне и на полу хорошо.

Она ставит бокал рядом с собой, оглаживает руками свои длинные сильные ноги и мрачно смотрит на Петера, который делает большой глоток. Очевидно, что он пребывает в состоянии сильнейшего внутреннего напряжения. Артур отставляет бокал на стеклянный столик, резко срывает с себя свою короткую спортивную шубу и садится в ближайшее кресло.

Бреннер. Сердечный привет от Марты.

Катарина. Которая, конечно, пришла в ужас, бедняжка.

Бреннер. Вовсе нет. Ей надо было в роддом, у нее назначена операция на ранней стадии.

Катарина. После приема у моей свекрови мы пошли на вечеринку. Очень шумную. Потом зашли к Юхану и Марианн, пропустили по стаканчику. Они собирались пойти ку-

да-нибудь поесть, и мы отправились в этот новый итальянский ресторан, ну, ты знаешь, рядом с театром. Там мы встретили Хессрайтера с его дамой. Они настояли, чтобы мы пошли к ним домой. Был уже час ночи. Я не хотела, но Петер заупрямился, сказал, что не желает возвращаться домой.

Она закрывает лицо руками, густые волосы падают вперед, обнажая шею. И на ней глубокую красно-синюю рану.

Бреннер. Что с твоей шеей?

Катарина. Э...

Петер. Ожерелье. Порвалось.

Бреннер. Вот как.

Петер. Оно порвалось. Я случайно схватил ее ожерелье и немножко потянул. А оно порвалось.

Бреннер. Смотри, как бы не было заражения крови.

Катарина. Ерунда!

Петер. Катарина говорит, что собирается бросить меня. А я отвечаю — пожалуйста, ради бога, это было бы фантастическим благодеянием. Тогда она говорит, что я без нее не справлюсь. Я отвечаю, что справлюсь без нее лучше, чем с ней. Тогда она говорит, что я импотент. А я отвечаю, что я импотент только с ней. И так далее.

Катарина (устало). Весь сыр-бор начался с того, что в ресторане Петер все время меня оскорблял. У него феноменальная способность говорить завуалированные гадости. Сначала мы смеялись, потому что он был остроумен, но потом он стал передразнивать меня, как я говорю по телефону, и всем сделалось не по себе, а я заплакала.

Петер. Катарина интуитивно выбирает нужный момент для пуска слез.

Катарина. Сейчас я расскажу тебе, что было предметом ссоры.

Петер. Великая ария!

Бреннер. Заткнись-ка, Петер, на минуту, дай Катарине сказать. Ты уже свой номер показал.

Катарина. Когда мы вернулись домой сегодня утром, Петером вдруг овладела похоть, и он пожелал со мной переспать. Я очень устала и подумала, ладно, только бы все произошло побыстрее, но Петеру хотелось чего-то экстраординарного,

он задумал великое представление, не знаю, какая муха его укусила, иногда он вечерами ходит к некоей тайной даме, и тогда лучше всего бывает со старой Катариной. Потом, конечно. Я решила, что справлюсь и с великим представлением. Такое бывало и раньше, и если я достаточно опьянею, то терпению моему нет границ, так что я выпила несколько бокалов вина и начала раздеваться; а он вошел в меня до того, как я успела раздеться, я даже не помылась. Я пришла в бешенство, но ничего не сказала, подумала, что теперь мы уже начали, остается только выполнить всю программу, как-нибудь перетерплю и наконец-то смогу поспать. Но ему вздумалось взять меня сзади, а член никак не входил, вероятно, Петер был слишком пьян, и тут я засмеялась, он взбеленился, стал на меня орать, а я не могла остановиться, просто не могла с собой совладать, и предложила отсосать, ему это обычно нравилось, и тогда он схватился за мое ожерелье и стал закручивать его так, что я чуть не задохнулась, наверное, он задушил бы меня, если бы ожерелье не порвалось. И он снова навалился на меня, просто сошел с ума, кусал до крови мои груди и бил раз за разом по лицу, хотя и не слишком сильно, и я решила, что если я успокоюсь и не буду раскрывать рта, он закончит и заснет.

Петер. Катарина рассказала, что у нее есть любовник, с этого все и началось. Что этот чертов Хессрайтер, с которым мы ели спагетти по-милански, неоднократно спал с ней, последний раз вчера.

Катарина (смеется). Петер знал об этой связи. Я ничего от него не скрываю. А вот Петер не осмеливается говорить правду. Он...

Петер. Я говорю правду. Рассказываю тебе обо всем.

Катарина. Неправда. Ты все время врешь. Ты *не способен* говорить правду.

Внезапно в диалог врывается хриплый возбужденный голос Марко Хоффманна. Он обращается к Катарине, в кадре ее лицо, она смотрит в камеру.

Марко. Ты тоже врешь. Ты врешь, потому что не в силах сказать всей правды, ты каждый раз останавливаешься, когда нужно сказать решающее слово. Ты не говоришь Петеру, что нена-

видишь его вялое мужское достоинство, с которым тебе приходится все время возиться. Ты ненавидишь, когда он ласкает твои груди, тебе хочется убить его, когда он, наконец, входит в тебя и выпускает свою слизь в твое лоно. Ты была бы способна откусить его член, когда твой муж сует его тебе в рот и требует, чтобы ты его сосала. Твоя ненависть так сильна, что разрывает тебя изнутри, но твоя самодисциплина сильнее. Иногда, разок-другой, твоя ненависть вырывается наружу, и тогда на какое-то время происходит извержение вулкана. Но после того как пар слегка выпущен, ты посвящаешь остаток дня, объясняя Петеру, почему ты именно в этот момент потеряла над собой контроль. И Петер позволяет себя успокоить, внешне позволяет, но в глубине души он никогда не прощает тебе, что ты не его мать, что ты перестала играть в дочки-матери, игру, в которую ты играла столько лет.

Петер (кричит). Я способен удовлетворить тебя. Я знаю, как обращаться с Катариной Эгерман. Рассказать, как это делается?

Катарина. За десять лет нашей совместной жизни ты наверняка подарил мне восемьсот тридцать два оргазма. Пятьсот тридцать раз я притворялась, после чего шла в ванную и сама себе помогала. Порой у меня происходило некое подобие спазма, это верно, я страшно благодарна. Петер Эгерман позволил мне почувствовать себя женщиной. Он позволил мне чихать тем, что у меня есть между ног! Бедный чертов Петер. Мне жалко тебя. Мне действительно жалко тебя.

Петер. Она всегда так говорит, когда ей нужно умалить мое достоинство. Самый изысканный трюк Катарины — ритуал умаления.

Катарина. Ты в самом деле считаешь, что я должна все это терпеть?

Петер. Сейчас она заговорит о своей лояльности.

Катарина. Я уже давным-давно перестала удивляться своей лояльности.

Петер. Только вчера ты сказала, что лишь твоя лояльность мешает тебе бросить меня.

Катарина. Моя лояльность — это ненормальная черта моего характера, которая не имеет к тебе никакого отношения.

Петер. Но я пользуюсь твоей лояльностью, так ведь?

Катарина. Возможно, я проявляю лояльность ради самой себя.

Петер. Ну вот, ты прослушал пластинку об извращенной лояльности Катарины, *Артур*. Может, закончим наши ударные номера и развлечем нашего друга чем-нибудь еще?

Катарина. Его язык не умолкает. Такое впечатление, что тишина его пугает.

Петер. В тишине слышна правда. То есть правда Катарины. Я правдой не обладаю, я целиком и полностью изолгался. Дело в том, что у Катарины заключен пожизненный контракт с объективной и настоящей мировой истиной. С одной стороны, потому, что она женщина, и как женщина имеет право на особое понимание, которое сидит у нее в крови и плоти, а с другой стороны — потому, что она Катарина, избранная Господом и созданная в удачный момент. Думаю, мне надо ненадолго пойти и подремать. Во сколько мы должны быть у Бауэра?

Бреннер. В десять. Я заеду за фон Саком, а потом мы по дороге прихватим тебя. Ты успеешь часок соснуть и принять горячую ванну. И снова обрешь бодрость.

Катарина. Помочь тебе?

Петер. Спасибо. Спасибо за любезность, Катарина. Я справлюсь сам. Спасибо, что пришел, дорогой Артур, ты настоящий друг. Когда я вижу вас вместе, тебя и Катарину, то вдруг понимаю, какая бы прекрасная пара из вас получилась. Как сказал Христос на кресте: Мать, узри своего сына! Сын, узри свою мать!

Он улыбается, но лицо искажено, глаза широко открыты, губы дрожат. Катарина встает и протягивает ему руку, как будто в знак примирения, но он делает вид, что не замечает этого. Артур Бреннер, по-прежнему сидя в кресле, бормочет что-то неразборчивое. Петер закрывает дверь. Катарина подходит к окну и разглядывает широкую панораму города. Серое утро, облачно. Доносится слабый шум проносащегося транспорта, грохочет невидимый самолет.

Бреннер. Тебе бы, наверное, следовало позвонить врачу. Возможно, ему нужно какое-нибудь успокоительное.

Катарина. Он отказывается принимать лекарства, отказывается идти к врачу. Утверждает, что это окружающий мир сошел с ума, а не он.

Бреннер. Весьма популярная теория, позволяющая оправдать почти все.

Катарина. Иногда мне кажется, что он прав.

Бреннер. Конфликты Петера с окружающим миром ничтожно малы. Он всегда, во всех обстоятельствах, примерный мальчик, умеющий великолепно приспособливаться.

Катарина. А под красивой личиной?

Бреннер. Очевидно, такой же хаос, как и у большинства из нас. (Потягивается, зевает.) Я не собираюсь проливать слезы по поводу неудавшейся душевной жизни Петера Эгермана.

Катарина (устало). Конечно, нет.

Бреннер. Мне не хватает тебя.

Катарина. Не говори так.

Бреннер. Ты знаешь, как мне тебя не хватает.

Катарина. Не исключено, что Петер подслушивает.

Бреннер. А это имеет какое-нибудь значение?

Катарина. К чему все это?

Бреннер (вздыхает). Да. Да-да.

Катарина. Ты так странно говоришь о Петере.

Бреннер. Он мне нравится.

Катарина. Но у тебя такой снисходительный тон.

Бреннер. Вот уж не думал. Ты правда так считаешь?

Катарина. Человек, стоящий на крыше в одной пижаме и не осмеливающийся прыгнуть, смешон, верно? Человек, который буйствует, крушит все вокруг себя и плачет, достоин презрения. Не слишком глубокого, он же все-таки друг. Небольшого презрения. Человек, избивающий в отчаянии женщину, должно быть, тронулся умом. Ему надо проконсультироваться с врачом и принять успокоительное. Разве не так?

Бреннер (смеется). Катарина!

Катарина. Вообще-то ты заслуживаешь большей жалости, чем Петер.

Бреннер. Естественно. У Петера есть ты. А у меня нет.

Катарина. Ты, такой тренированный, загорелый, мужественный. Нет, я не буду распекать тебя.

Бреннер. Я играю, все очень просто. Я — маленький способный машинист. Машины любят меня.

Катарина. Петер тоже был машинистом.

Бреннер. Петер был умелым машинистом, и все были уверены, что он пойдет далеко. Только он совершил роковую ошибку.

Катарина. Ошибку?

Бреннер. Он обнаружил, что машины состоят из людских тел, нервов, глаз, мыслей, страданий. И это испугало его. Машинист, испытывающий страх, плохой машинист.

Катарина (качает головой). Не все так просто.

Бреннер. Ему противны всякие ухищрения.

Катарина. Дело обстоит куда хуже.

Бреннер. Иногда ты чересчур драматизируешь, дорогая.

Катарина (взрывается). Существует *нечто*, к чему мы должны относиться серьезно! Неужели не понимаешь! В том, что происходит, таится некая *угроза*, о которой мы не говорим, потому что у нас нет слов. Что это за чертова идиллия, которую мы из всех сил пытаемся удержать, хотя она пуста, и гниение лезет изо всех щелей? Почему мы не позволяем этой черноте, опасности вырваться на свет божий? Зачем мы законопачиваем все выходы и делаем вид, что ничего подобного не существует? Почему мы продолжаем надеяться на разные чудеса и политические трюки несмотря на то, что слышим, как усиливается гром, и знаем, что катастрофа приближается? Почему мы не разрушаем общество, это мертвое общество, такое бесчеловечное, такое безумное, такое унижительное, такое отравленное? Люди пытаются кричать, но кричащим затыкают рот пустыми фразами, взрываются бомбы, детей разрывает на куски, и террористы несут наказание, но за каждым убитым террористом стоят наготове десять, они непобедимы, потому что заключили союз с силой, с которой мы не хотим разговаривать, о которой не хотим ничего знать. И это Смерть. Они — жертвы, как и их жертвы, жертвы, как мы сами. И до тех пор, пока мы не пожелаем обозначить их безумную действительность, мы будем бессильны против катастрофы, приближающейся к нам день за днем, час за часом...

Бреннер (спокойно). Все, что ты говоришь, разумно, и я уважаю твои убеждения, если это *действительно* твои убеждения, а не результат бессонной ночи.

Катарина (устало). Не знаю.

Бреннер. Когда-нибудь, когда ситуация будет не такой напряженной, я расскажу тебе о своих взглядах на эти проблемы. (Улыбается.) Цифры другие, а результат тот же.

Катарина (равнодушно). Результат?

Бреннер. «Катастрофа», как ты это называешь. Ладно, сейчас надо вернуться домой, побриться, принять ванну и погулять с моей старушкой таксой. До свидания, дорогая Катарина. Береги себя. Дай я тебя поцелую.

Шторы в спальне наполовину задернуты, Петер лежит на кровати, раздетый, глаза закрыты. Он страшно бледен, рот приоткрыт. Катарина ложится рядом на другую кровать. Долгое молчание.

Катарина. Спишь?

Петер. Нет.

Катарина. Как ты себя чувствуешь?

Петер. Хорошо. Со мной все хорошо.

Катарина. Разбудить тебя через час?

Петер. Нет смысла спать.

Катарина. Почему мы все время ссоримся?

Петер. Не знаю.

Катарина. Я вела себя как истеричная дура.

Петер (не отвечает).

Катарина. О чем ты думаешь?

Петер. Думаю о том, что ты ставишь одну и ту же пластинку с припевом: «Я виновата, прости, любимый». Тот, кто успеет поставить эту пластинку первым, выигрывает.

Катарина. Но если я действительно считаю, что вела себя как истеричная дура. Разве я не должна сказать это?

Петер. Нет.

Катарина. Почему?

Петер. Слишком просто вечно талдычить «прости».

Катарина. А что же надо тогда делать?

Петер. Ничего.

Катарина. Как хочешь.

Петер. Пожалуйста, лежи здесь, только заткнись.

Катарина (плачет).

Петер. Перестань хныкать.

Катарина. Хорошо.

Петер. Это ничему не поможет. ‘

Катарина. Ты собирался покончить с собой?

Петер. Просто дышал свежим воздухом.

Катарина. Давай поговорим, а?

Петер. Нет.

Катарина. Давай хоть попробуем?

Петер. Мы пробовали тысячу раз. В следующей стычке мы используем то, что доверительно говорили друг другу в моменты нежности, в качестве оружия.

Катарина. Помнишь, как было в начале нашей совместной жизни? Как мы старались.

Петер. У нас был капитал — любовный капитал, если хочешь. Мы его растратили и ничего нового не приобрели. Знаешь почему? Мы приняли правила игры, не умея играть. И оказались обманутыми. Знаешь, что страшит меня больше всего? Не иметь возможности ходить на работу, читать привычную газету, есть в установленное время. Меня пугают бессонница, запоры, мысль о том, что сломается машина, что я заболею, что у меня заносит зуб. Я знаю, что любой беспорядок угрожает моей с таким трудом налаженной самодисциплине, всей моей тщательно продуманной системе безопасности.

Катарина. Это не соответствует действительности, Петер.

Петер. Вот как?

Катарина. Если бы все обстояло так, как ты утверждаешь, ты бы не пил.

Петер. Я пью, чтобы набраться мужества и выключить эту систему.

Катарина. И что это тебе даст?

Петер. Я взорву Петера. Педантичного обывателя. Внимательного сына великой актрисы. Баловня судьбы. Кроткого супруга.

Катарина. И что останется?

Петер. Своего рода фарш из крови, нервов и воспоминаний.

Катарина. Неужели так будет лучше?

Петер. Во всяком случае, я буду больше похож на тот мир, который меня окружает.

Здание правительства представляет собой мрачноватый бетонный параллелепипед, окруженный высоким забором. За несколько минут до десяти в ворота въезжает самый большой «мерседес» «Людвигс Верке» и останавливается у главного входа. Петер, сидевший рядом с шофером, выходит первым, он бледен, но собран, нет и следа ночного шторма. Он без головного убора, в руках дипломат, он курит. Из задней части автомобиля

(дверь открыл шофер в темной ливрее) выходят Артур Бреннер, исполнительный директор «Людвигс Верке», и барон Виланд фон Сак, председатель правления. Они быстро поднимаются по лестнице и через широкие стеклянные двери входят в вестибюль. Из-за стола тут же встает какой-то чиновник и сопровождает трех господ к лифту, который мгновенно и бесшумно доставляет их на третий этаж. Короткий коридор ведет в уютную приемную со светлыми шторами и мягким ковром. Служащий поспешно направляется во внутреннюю комнату, где сообщает секретарше о прибытии гостей. Она немедленно передает это сообщение по внутреннему телефону. Служащий предлагает высоким посетителям присесть, после чего, поклонившись, удаляется.

Бреннер (фон Саку). Ты начнешь. (Петеру.) А вы, господин Эгерман, будьте так любезны вести записи. Я имею в виду, если возникнут трудности.

Петер. Разумеется.

Фон Сак. Но до какого предела мы можем идти?

Бреннер (дружелюбно улыбается). Это не твоя забота.

Фон Сак. Но мне следует знать?

Бреннер. Это зависит от того, что мы получим, кроме того, мы не знаем...

Бреннер осекается и встает. Сердечно улыбаясь, к господам подходит Дитер Лаубнер, статс-секретарь Бауэра (молодой человек с хорошо уложенными светлыми волосами и водянистыми глазами).

Лаубнер. Добро пожаловать, господа. Давненько не виделись.

(Он обменивается рукопожатием с фон Саком, Бреннером и Петером.)

Петер. Привет, Лаубнер, как у тебя с теннисом?

Лаубнер. Я возобновлю тренировки, будь уверен.

Бреннер. Говорили, будто вы сломали ногу?

Лаубнер. Нет, нет, просто разрыв мышцы.

Петер. А как дела дома?

Лаубнер. Замечательно. Мы только что переехали. Кстати, Эльса идет вечером на демонстрацию коллекции Катарины.

Господа входят в нарочито обезличенный кабинет доктора Бауэра. Тот идет к ним навстречу, пожимает руки.

Лаубнер. Предлагаю устроиться вот здесь. Кто-нибудь желает выпить? Может быть, позднее? Сигареты? Сигары?

Присутствующие берут предложенное. Атмосфера благожелательная, но напряженная.

Фон Сак. Очень любезно с вашей стороны, доктор Бауэр, что вы нашли время принять нас. Честно говоря, мы не чувствуем большого радушия по отношению к нам в Бонне. Там говорят теперь на другом языке. Это не тот язык, который восстанавливал нашу страну после войны.

Бауэр (кивает, улыбается).

Фон Сак. И тем не менее жизнь идет благодаря нам. Без жизне-способной промышленности не обойтись. Каким образом можно было бы иначе профинансировать все эти примечательные реформы!

Бауэр (согласно кивает головой, улыбается).

Фон Сак. То, что хорошо товарищам из Бонна, не обязательно хорошо для нас.

Бауэр. Тридцать два пятнадцать двадцать семь. Пять.

Фон Сак. Разумеется. Ну, к делу! Те две установки, которые собирается построить «Людвиг Верке», стоят в общей сложности семь с половиной миллиардов. Мы знаем, как они необходимы для экономики всей страны, и, кроме того, они создадут около четырнадцати тысяч рабочих мест в течение пяти лет. Почти восемь тысяч на «Людвиг Верке», еще пару тысяч в регионе, остальные по всей стране. Прибыль брутто составит по расчетам приблизительно один миллиард, может, чуть больше, прибыль нетто, конечно, намного ниже, не более пятидесяти миллионов. В прошлом году «Людвиг Верке» получила прибыль в размере пятисот пятидесяти миллионов. Таким образом, если нам не будут предоставлены дотации, мы рискуем за пять лет потерять чистыми более четырехсот миллионов, то есть почти по миллиону в год. При таких условиях...

Спустя час; на столе появились бутылочки с минеральной водой, пельницы наполняются. Исполнительный директор и Лаубнер сняли

пиджаки, Петер, открыв дипломат, извлекает оттуда бумаги, которые изучаются всеми, кроме доктора Бауэра, удобно развалившегося в кресле. Он попыхивает сигарой. Фон Сак скрывает все возрастающую дремоту, делая вид, что просматривает какую-то папку, содержащую разные кривые и таблицы. И одновременно пригубливает из бокала сухой херес.

Лаубнер. Восемьсот металлургов в Мюнцдорфе?

Бреннер. С этим мы справимся.

Лаубнер. Откуда?

Бреннер. В крайнем случае привезем из Югославии.

Лаубнер. А жилье?

Бреннер делает жест в сторону Петера, который смотрит в свои бумаги. Несколько мгновений до этого он с отстраненным видом разглядывал величественную голову премьер-министра.

Петер (поспешно). Извините. В Мюнцдорфе у нас есть жилье для трехсот пятидесяти человек. Мы планируем построить дом еще для двухсот. Он будет готов не позже чем через год. Вначале будут бараки на четыреста пятьдесят человек, через год — на двести пятьдесят.

Лаубнер. А Мюнцдорф способен обеспечить двести квартир?

Бреннер. Их строим *мы*.

Наступает минутное молчание. Все обдумывают предоставленные данные, напряжение растет. Лаубнер обменивается многозначительным взглядом с премьер-министром, который тут же хватается за документ и начинает внимательно его изучать. Дитер Лаубнер тщательно раскуривает трубку, откидывается на спинку стула. Петер вновь устался на череп доктора Бауэра.

Лаубнер. Стало быть, технически это возможно. (Пауза.) Технически все возможно, не так ли. (Курит; пауза.) Это политический вопрос. (Пауза.) Не правда ли, господа?

Бреннер. Поэтому мы здесь.

Лаубнер. Общественное мнение как здесь, так и в остальных частях страны настроено резко отрицательно.

Бреннер (с некоторой долей высокомерия). Что такое это так называемое общественное мнение? Горстка писак. Простой народ ничего не знает о нашем энергоснабжении.

Лаубнер. Не следует недооценивать СМИ. Наш друг Шварц — скотина. Если он будет продолжать в том же духе, как до сих пор, мы рискуем потерять наше большинство.

Бреннер. Это настолько серьезно?

Лаубнер. Насколько серьезно.

Бреннер. Вот уж не думал.

Лаубнер. Шварц и его газета уже нанесли большой вред. Мы весьма озабочены.

Фон Сак. Но Шварц испытывает трудности.

Бауэр (внезапно). Пятнадцать? Тридцать пять восемь?

Фон Сак. Он чересчур быстро разросся.

Лаубнер. Что вам известно по этому поводу?

Фон Сак (улыбаясь). Я — член правления его банка. У самой газеты дела идут отлично, тут никаких сомнений. А с журналами полный провал. Кроме того, новые здания обошлись на тридцать миллионов дороже, чем было рассчитано. Мы дали ему большие займы. В последний раз ему пришлось заложить акции в качестве гарантии.

Лаубнер. А если заем отозвать?

Фон Сак. Невозможно. Банк не может издавать газету.

Премьер-министр, наклонившись вперед, очень осторожно кладет сигару на край пепельницы. Она только что погасла.

Бреннер. Значит, вы не можете действовать независимо от центрального правительства из-за местного общественного мнения.

Бауэр (кивает). Пятнадцать. Три. Семь!

Бреннер. Вы, стало быть, хотите сказать, что Шварц и его газета играют решающую роль в создании общественного мнения по вопросам энергетики. Я вас правильно понял, доктор Бауэр?

Бауэр (кивает). Восемнадцать.

Бреннер. А если Шварц изменит курс газеты, то...

Лаубнер. ...тогда, разумеется, наши сомнения по поводу вашего проекта в значительной степени ослабеют.

Бреннер. И ваше большинство будет в безопасности.

Лауднер. Что было бы в интересах экономики. Не так ли, господа?

Через полчаса господа Эгерман, Бреннер и фон Сак вновь сидят в просторном «мерседесе» с одной лишь разницей — Петер с

переднего места рядом с шофером переместился на откидной стул в самом салоне. Настроение сдержанно-приподнятое.

Бреннер. Какой заем банк дал Шварцу?

Фон Сак. В общей сложности больше восьмидесяти миллионов.

Бреннер. И немедленно отозвать его нельзя?

Фон Сак. Не весь, только немногим больше тридцати миллионов. Но вся проблема в том, что у нас нет никакого повода. Банк, как я уже говорил, не может быть издателем газеты. Это привело бы к чудовищному скандалу. Кроме того, его предприятие убыточно. У него самого гораздо больше возможностей справиться с трудностями, чем у нас.

Бреннер. Мне плевать на его предприятия. (Петеру.) Ты должен найти издательство, которое мы могли бы купить. Не слишком крупное. Но и не маленькое.

Петер. Что ты имеешь в виду?

Бреннер. Несколько миллионов должно хватить. Можешь даже переплатить. После чего мы переведем восемьдесят миллионов со счетов «Людвиг Верке» в наше новое издательство, выкупим банковский заем Шварца и приобретем акции его газеты. Собственно говоря, «Людвиг Верке» в этой связи светиться необязательно. У нас, например...

Фон Сак (потрясенно). Но восемьдесят миллионов...

Бреннер (высокомерно). Это меньше десяти процентов от той суммы, которую мы получим за обе установки.

Фон Сак. Да, но...

Бреннер. Любишь кататься, люби и саночки возить. Когда банк может отозвать заем?

Фон Сак. У нас в четверг заседание правления. Но, прости за вопрос, какие аргументы я...

Бреннер (прерывает). «Людвиг Верке» — клиент покрупнее, разве не так? И главное, гораздо солиднее! (Петеру.) Найди издательство. Заплати, сколько будет надо. Вдвое больше, чем оно того стоит, если потребуется. Через неделю доложишь. У нас мало времени.

Фон Сак. А что потом?

Бреннер. Все очень просто. Большинство акций газеты Шварца переходит в нашу подставную фирму. Шварца увольняют. Наш новый друг доктор Бауэр накладывает вето на жесткий закон по атомной энергетике, разработанный центральным правительством.

вом. После чего мы можем строить наши реакторы. Думаю, у нас есть основания поддержать доктора Бауэра. Он человек разумный и вызывает доверие. Народ верит в то, что он говорит, даже когда он врет. Это необходимое качество для политика.

Лимузин осторожно лавирует в оживленном транспортном потоке. Выглянуло солнце, и с крыш, как по весне, начало капать. Петер, внезапно извинившись, вылезает из машины. Он говорит, что будет на работе через час, останавливает такси и называет адрес. Через несколько минут он на месте.

Представления сменяют друг друга под оглушительный грохот. Маленькие каморки набиты зрителями, возле билетной кассы образовалась небольшая очередь. Бар заполнен людьми, которые едят бутерброды и пьют пиво. От цветного освещения пышет сухим жаром. Петер тихо говорит что-то вахтеру, стоящему возле закрытой двери. И сует купюру в услужливую ладонь.

Девочки из второй смены только что пришли. В гостиной грохочет телевизор. Кто-то обедает, кто-то разговаривает, перекрывая весь остальной шум. Лает собака. В туалете что-то сверлят двое рабочих.

Ка уже собралась уходить. Она стоит у доски объявлений, волосы растрепаны, без грима, в слишком элегантной шубе. Одна из выступавших девочек, хохоча, соскакивает со сцены, во время исполнения номера у нее сломался каблук на правом сапоге. Девушка, приготовившаяся ее сменить, чуть не забывает о своем выходе и влетает на сцену, громко хохоча. Ка кричит кому-то в примерке, нужно ли ей что-нибудь купить домой. Да, нужно.

Петер. Я могу с тобой поговорить, это займет всего минуту.

Ка. Приходи вечером.

Петер. Не могу.

Ка. В любом случае, сейчас у меня нет времени.

Петер. Это важно для тебя.

Ка. Ну?

Петер. Здесь мы не можем разговаривать.

Ка. Выпьем пива где-нибудь поблизости.

Петер. Не пойдет.

Ка. Вот как.

Петер (резко). Я спешу.
Ка. Ладно. (Кричит). Суси!
Суси. В чем дело?

Суси появляется в дверях гримерки. На лице воинственный грим, но она все еще в майке и брюках, в руках чашка с горячим бульоном.

Ка. Не одолжишь мне свою комнату на полчаса?
Суси. Там не убрано.
Ка. Не важно.

Суси вынимает ключ и бросает его Ка, та ловит. Они входят в крошечный закуток без окна, мебели нет, только на полу широкий накрытый матрас. Действительно, здесь не убрано. Ка быстро сбрасывает с себя шубу, опускается на матрас и закуривает. Она в дурном настроении. Петер стоит.

Петер. Теперь слушай внимательно.

Ка. Сядь.

Петер. Нет.

Ка. Ну, и что же такого важного?

Петер. Я купил акции.

Ка. Вот как.

Петер. Для тебя.

Ка. Для меня? И зачем?

Петер. Для тебя. Я купил десять тысяч акций «Людвигс Верке». Задаток составил двести тысяч. Общая стоимость — два миллиона триста шестьдесят тысяч, которые вносятся через две недели.

Ка. Ты свихнулся?

Петер. Курс акций все время снижался. По моим расчетам в ближайшие десять дней их курс поднимется на двадцать-тридцать процентов. И тогда ты продашь их. Ты заработаешь более полумиллиона.

Он роется в карманах и вытаскивает клочок бумажки, просматривает его, потом протягивает Ка.

Ка. Что это?

Петер. Адрес и телефон моего хорошего друга. Он получил все инструкции и провернет дело. Он абсолютно надежный человек. Теперь мне надо идти.

Он кивает и исчезает.

Петер выходит из тени подъезда. Стоя в лучах приветливого теплого солнечного света, осматривается. Гул машин, где-то играет духовой оркестр, несколько ребяташек, разряженных и разрисованных, носятся друг за другом. Он закуривает и продолжает стоять. Лицо его сейчас совершенно спокойно, расслаблено, ни следа ночных переживаний, интенсивной злобы, ненависти, страха. Он улыбается про себя, очевидно, испытывает большое облегчение.

Марко (голос). Он чувствует огромное облегчение. Все самоочевидно, все решено. В ту же секунду исчезают страдания, страх принятия решения. Возможно, он даже испытывает радость. Впервые за много лет двери его тюрьмы распахиваются, и он способен воспринимать момент: солнечный свет, дыхание весны, речной поток, далекую музыку, играющих детей, шум транспорта вокруг.

Анна останавливает аппарат, зажигается лампочка. Альберт еще не пришел. Лицо Петера застыло на освещенном экране. Она разглядывает его с внезапным волнением.

Анна (про себя). Какая же я идиотка.

Она выключает рубильник, быстро встает, нетерпеливо причесывается, снимает с себя рабочий халат, берет из шкафа верхнюю одежду, перелистывает вечернюю газету, где печатаются объявления с адресами и телефонами. Потом разыскивает перчатки, сумочку, ключи от машины. В дверях она сталкивается с Альбертом.

Альберт. Что-нибудь случилось?

Анна. Я иду к Марко.

Альберт. Ты знаешь, где он?

Анна. Думаю, что знаю.

Альберт. Уверена?

Анна. Нет. Но, по-моему, он в том самом борделе, который показан в фильме.

Альберт (качает головой). Нет, там его нет.

Анна (закрывает лицо руками). Я все равно пойду. Куда угодно!

Альберт. А как же наше празднество? Ты о нем забыла?

Анна. Да.

Альберт (печально). Топси приготовила прекрасный ужин в честь помолвки. Камбала «Валевски».

Анна. Пропусти меня.

Альберт. Да. (Печально.) Конечно.

Анна. Я приду завтра утром минута в минуту.

Альберт. Хорошо.

Альберт Куммер ловит ртом воздух, словно у него что-то болит. Анна уходит по коридору, удаляясь от монтажной. Две курящие девушки в белых халатах и маленькая собачонка смотрят на них.

Альберт. Анна!

Анна (оборачивается). Да?

Альберт. Я дам тебе адрес.

Он сбегает за ней по лестнице. По мнению обеих девушек дело начинает принимать интересный оборот. Из другой монтажной слышится старомодная танцевальная музыка, перемежающаяся любовными репликами. Альберт достает блокнот, пишет адрес, вырывает листок и отдает его Анне. Она берет его, не глядя на Альберта. Торопливо сбегает по лестнице, идет к парковке и включает двигатель своей машины.

Альберт присаживается на ступеньку. Шляпа лежит рядом. Девушки в белых халатах, вдруг смутившись, зовут противную собачонку и скрываются, хихикая, в одной из монтажных. В коридоре звучат звуки старомодного танго.

Альберт. Камбала «Валевски».

Адрес приводит Анну в элегантные кварталы на окраине города. За деревьями и лесными участками прячутся новенькие трехэтажные дома. Под террасами течет река. Анна нажимает кнопку домофона, ей приходится долго ждать. Она говорит, что принесла телеграмму. И вот она перед дверью, которая только приоткрыта, дверная цепочка не дает заглянуть внутрь.

Анна. Я хочу поговорить с Марко Хоффманном.

Голос. Его здесь нет.

Анна. Меня зовут Анна Бергман. Вы хотя бы можете спросить его, не хочет ли он со мной поговорить.

Голос. Я же говорю, его здесь нет.

Анна. Помогите мне. Мне просто необходимо поговорить с ним.

Дверь захлопывается. Анна не уходит. Кто-то есть там, внутри, она слышит быстрые шаги, кто-то говорит. Закрывается какая-то дверь, после чего все стихает. Анну внезапно охватывает бешенство. Она нажимает на кнопку звонка и громко кричит, что ей надо поговорить с Марко. Ничего не помогает. Она прислушивается: тишина. Дом словно вымер, словно здесь никто не живет. Она не может заставить себя уйти, продолжает стоять, руки повисли, в сухих глазах свербит. Но вот послышались шаги, цепочку снимают, дверь открывается. Перед ней низенький человек с бледным лицом, высоким лбом, большими голубыми глазами, узкими недовольными губами и крашеными блондинистыми волосами, он глядит на нее с меланхоличным недоверием. На нем распахнутая светлая шелковая рубашка и черные обтягивающие брюки.

Тим. Ну и расшумелись вы, фрёкен.

В жестких башмаках на приличных каблуках он семенит впереди Анны в большую светлую комнату, забитую мебелью, лампами, картинами, коврами и безделушками. На низком диване сидит Марко, он смотрит по телевизору футбольный матч. Вид у него ухоженный, он одет в короткую куртку из мягкой кожи, светлую рубаху того же типа, что и у Тима, и джинсы. Ноги босые. Увидев Анну, он приветливо улыбается и протягивает ей руку.

Она берет его руку, и он заставляет ее сесть рядом с собой на диван. И тут, оказавшись рядом, она обнаруживает, как он изменился: погасший взгляд, обвисшая, серая кожа, улыбка, которая и не улыбка вовсе, а гримаса из губ и зубов.

Анна. Прости, что врываюсь вот так, но мне необходимо было повидать тебя и поговорить.

Марко. Нам надо много о чем поговорить.

Анна. Да, много.

Марко (улыбаясь). И о личном, и о работе.

Анна (счастливо). Пожалуй.

Марко. Видишь ли, я просто отдыхал. (Тиму.) Может, что-нибудь нам подашь?

Анна. Нет, спасибо, я ничего не хочу. Возможно, позднее. Альберт дал мне адрес.

Марко. И правильно сделал. Я совсем вымотался, когда закончил фильм. Столько всяких споров и ссор. Естественно, по большей части в этом виноват я сам. (Смотрит на Анну.) Альберт написал мне, что вы с ним обрабатывали материал много месяцев. Как получилось?

Анна (неуверенно). Не знаю, Марко. Мы очень не уверены. То есть, я не уверена.

Марко. Но отдельные сцены?

Анна. Я не понимаю, что ты хотел сказать своим фильмом.

Марко. Ты имеешь в виду, что его трудно понять?

Анна (грустно). Да. Что-то в этом роде. Он трудный.

Марко (улыбаясь). Тогда придется закончить его.

Анна (неуверенно, счастливо). Ты правда этого хочешь?

Марко. А ты как думала. Просто я был совершенно измотан. Но теперь мне намного лучше. Тим за мной ухаживал. Он — замечательный парень. Мне можно позавидовать, потому что у меня такие благородные друзья, верно?

Его лицо еще большее сереет, становится напряженнее, глаза теряют выражение, он облизывает ссохшиеся губы.

Анна. Тебе плохо, Марко?

Марко. Я чувствую себя прекрасно. Только сон одолевает. Давай встретимся...

Он замолкает, закрывает глаза, вид отсутствующий, кожа на лбу белеет, он проводит ухоженными руками по щекам.

Тим. Он должен поспать, фрёкен Бергман.

Марко. Я немного отдохну. Увидимся в воскресенье, Анна. В монтажной, я приду точно в час дня. Собери к этому времени весь материал.

Анна (счастливо, боязливо). Конечно, Марко. Я соберу весь материал. Каждый кадр твоего фильма.

Тим бережно помогает ему лечь, накрывает его мягким пледом. Показывает Анне, что им надо покинуть комнату, задергивает шторы. Выйдя вместе с Тимом в прихожую, Анна больше не в состоянии скрывать своего волнения.

Тим. Почему вы плачете, фрёкен Бергман?

Анна. Не знаю. Наверное, рада, что Марко возвращается к нам.

Тим. Я прослежу, чтобы он не опоздал.

Анна. Спасибо, очень любезно с вашей стороны. Простите, что я плачу.

Тим. Ничего страшного, фрёкен Бергман. На вас приятно смотреть.

8

Шарлотта любит находиться у себя в спальне, свет там такой, как надо, вкусные запахи, удобные кресла, надежное брачное ложе, мягкие ковры и потрескивающий камин. Возле стрельчатого окна стоит ее письменный стол со всеми фотографиями, слева она может видеть большую картину, написанную маслом, на которой изображена сама актриса в одной из своих блестящих ролей. В низком, но широком алькове (почти еще одна комната) помещается ее туалетный столик с зеркалами и кусковой мозаикой.

Шарлотта Эгерман только что переделалась по случаю праздничного представления в Национальном театре. На дворе — по-весеннему теплый день, и солнце рисует подвижные тени, освещает светлые шторы, мерцает в хрустальных призмах люстры и мимоходом касается щеки старой дамы. На ней — дорогое платье в стиле ампир, великолепно подчеркивающее ее моложавую фигуру. Глубокое декольте под тонкой вуалью намекает на прекрасную грудь, о которой говорила вся Европа, когда она еще в 1938 году играла с обнаженной грудью роль легкомысленной жены звонаря в драме Инкланна «*Divinas palabras*». На слабо переливающимся одеянии нет никаких украшений, только обручальное кольцо. Густые блестящие волосы собраны в замысловатый узел.

Сейчас она, готовая к выходу, сидит за письменным столом в ожидании своего сына Петера, который обещал отвезти ее в театр. Ее юная секретарша Юдит движется бесшумно и молча. Она застилает просторную кровать (актриса немного вздремнула после ленча). В комнате присутствует и Ариэль-Валентин. Он сидит за старинным, красиво окрашенным клавесином, только что он закончил играть медленный пассаж из сонаты Скарлатти.

Шарлотта. Я написала письмо моему дорогому другу, директору «Резиденцтеатра». И попросила его взять на себя ваше сценическое воспитание.

Валентин. Премного благодарен.

Шарлотта. Кроме того, я попросила Юдит наилучшим способом обустроить ваше жилье. Она говорит, что охотно поможет с мебелью и разной утварью.

Валентин. Слишком много хлопот.

Юдит. Совсем никаких хлопот, Валентин. У нас столько старых поклонников, которые будут просто счастливы оказать услугу фру Эгерман.

Валентин. Вы меня балуете.

Шарлотта. Разве не приятно побаловать красивого молодого человека, правда, Юдит? Согласись, что это удовольствие.

Юдит подходит к молодому баловню и, нисколько не смущаясь, нежно треплет его за уши.

Валентин. Юдит сказала, что хочет выйти за меня замуж.

Юдит. Я с ужасом думаю обо всех гадких, бесхарактерных женщинах, которые охотятся за этим мальчишкой. Я готова пожертвовать собой, чтобы спасти его для искусства.

Она целует его в губы. Шарлотта разглядывает свою ладонь, подставляет ее свету. Между большим и указательным пальцами она видит Конрада в тени возле дверей. Улыбается про себя.

Шарлотта. Совершенство. Я ощутила на секунду, что вот оно — совершенство. Я всего несколько раз ощущала совершенство вне сцены. Гораздо чаще я удостаивалась этого в своей профессии. Не могу описать радости, когда я чувствовала близость к абсолютному. Наверно, можно вообразить, что жажда совершенства мучительна, если ты уже испытал его хоть раз. Но это не так. Радость остается, как эхо, тайное свечение. Это великая милость. Все страдания, которые готовит нам действительность, не в силах загасить эту радость.

Она замолкает и, приставив, как бинокль, руку к правому глазу, щурится, чтобы посмотреть, стоит ли Конрад по-прежнему там, в тени. Но его нет.

Шарлотта. Я хочу подарить вам обоим кое-что на память об этом дне. Ничего особенного, это не драгоценности, просто пара игрушек, которые я сохранила с детства. Вот, Валентин. Если ты возьмешь в руки этот ящичек и поглядишь в линзу, то увидишь крошечный театр. Нажмешь на кнопку, подни-

мется занавес. А с помощью вот этой ручки ты можешь вызывать разные декорации и актеров.

Валентин протягивает руки, подносит ящичек к лицу, поворачивает его к окну: драматические сцены, волшебные пейзажи, дикий покой, таинственные мгновения.

Шарлотта. А это тебе, милая Юдит.

Актриса осторожно открывает маленькую шкатулку, обитую потертым бархатом. Там лежит тоненькое кольцо с крошечным бриллиантом. Кольцо на детский пальчик.

Шарлотта. Это кольцо было моим первым украшением. Его подарил мне отец, мне было пять лет, и я болела корью. Он поднес кольцо к свету и сказал, что оно волшебное, кольцо счастья. Камушек мерцал и переливался. Он был живой! Не благодарите меня. Это не такие подарки. Сколько времени?

Юдит. Скоро половина третьего.

Шарлотта. А во сколько начинается спектакль?

Юдит. Ровно в три. Инженер Эгерман наверняка придет в любую минуту. Кстати, не велеть ли мне накрыть стол после спектакля?

Шарлотта. Нет, спасибо. «Дон Жуан» — это длинное и утомительное мероприятие. Когда я вернусь домой, то выпью лишь мой вечерний бульон и бокал вина.

Юдит. Я попрошу фрёкен Соммер поставить поднос.

Шарлотта. Спасибо, это будет превосходно.

Юдит. Мне остаться?

Шарлотта. Ни в коем случае. Я решительно настаиваю, чтобы Юдит и Валентин отпраздновали этот день как можно лучше.

Внезапно она становится серьезной и жестом подзывает их к себе. Встает и целует их, сперва Валентина, потом Юдит. И тут появляется Петер.

Никем не замеченный, он занял место Конрада у двери.

Петер. Какая ты красивая.

Шарлотта. Твоей старой маме по-прежнему нравится наряжаться.

Она сжимает руками его лицо, быстрым жестом гладит по волосам.

Шарлотта. Что-нибудь случилось, Петер?

Петер. Поздно вато легли.

Шарлотта. У тебя лицо изменилось.

Петер (с улыбкой). Надеюсь, к лучшему. Идем, мама, у нас совсем мало времени. Было бы нехорошо ворваться в зал после премьер-министра и членов правительства.

«Дон Жуан». Финал первого действия. Сцена представляет собой парадный зал дворца. За окнами бушует гроза, подрагивает пламя свечей, молнии разрезают мрак парка. Знаменья и безумие. Все повернулись к Дон Жуану и Лепорелло.

Трепещи, дрожи, преступник,
Скоро целый мир узнает
О твоей жестокой злобе
И о черных злодеяньях.

И Дон Жуан защищается с прорвавшимся страхом:

Я в смятении и страхе,
Буря мне грозит во мраке,
Надвигается, о Боже! *

Наконец, он хватает Лепорелло за плечо, вытаскивает шпагу и прокладывает себе путь к воротам и непогоде. Занавес закрывается. Прием оглушительный.

Как только опустился занавес, Петер Эгерман тут же встал и направился в королевский зал — повсюду зеркала, хрусталь, гипсовые статуи, паркет.

Послеполуденное солнце пускает огненные копья сквозь высокие окна, ранний весенний вечер.

По площади неспешно фланируют люди. Играет капелла. По соседним улицам грохочет транспорт.

Овации стихли, и публика заполняет освещенные залы. Это праздник, все присутствующие в вечерних туалетах. Петер, приветливо улыбаясь, здоровается с друзьями и знакомыми.

* Перевод О. Афиногеновой.

Вот появляется Катарина в блестящем платье с глубоким декольте и тяжелыми примитивными украшениями на шее и на запястьях.

Она держит под руку мать Петера. Они оживленно разговаривают, весело машут Петеру, тот в ответ улыбается. Он спрашивают, не желают ли дамы чего-нибудь выпить. С большим удовольствием. Петер пробирается к бару, по дороге встречает фон Сака и Бреннера с супругами, они обмениваются приветствиями и восторженными отзывами. Чуть подальше стоит профессор Хессрайтер, подавшись вперед, он нежно разговаривает с молоденькой экзальтированной красоткой, повсюду друзья, коллеги, знакомые, уважаемые люди. Праздник продолжается, щедрый солнечный свет окрашивает все вокруг в золотые цвета, атмосфера раскованная, потрясающие достижения там, на сцене, оживили чувства.

Приближается премьер-министр, одетый в безупречный смокинг, в сопровождении супруги и сына. Увидев Петера, он направляется к нему. Петер ставит бокал на стойку бара, выбирается из скопления смеющихся, болтающих, пьющих лиц, теперь он на свободе. Премьер-министр идет ему навстречу, улыбаясь и протягивая свою крупную ладонь. Петер вытаскивает пистолет и целится в голову Зигфриду Бауэру.

В тот же миг раздается выстрел. На долю секунды Петер замечает недоуменное выражении лица премьер-министра, видит отпрянувших людей, слышит крики. И в эту же долю секунды успевает разглядеть двенадцатилетнего сына премьер-министра с пистолетом в руке и холодным возбуждением на лице.

А потом мир разваливается на куски, перед его глазами трепещут черные крылья. И Петер плашмя падает на пол.

Анна останавливает проектор и оборачивается. В темноте стоит Марко. Анна бурно радуется, но сразу же берет себя в руки.

Анна. Ты все-таки пришел!

Марко. Я же обещал.

Анна. Ты слишком рано пришел. Я еще не начала ждать.

Марко. Ты говорила с Альбертом Куммером?

Анна. Он очень обрадовался. Можешь не сомневаться, он придет.

Марко. Естественно.

Анна (со слезами на глазах). Вот ты и здесь.

Она вынимает звуковую дорожку и пленку, кладет их в нужные коробки, не в силах справиться со слезами, тихо плачет. Движения ее тем не менее быстрые и уверенные.

Анна. Я не плачу. Не думай, будто я плачу.

Порывисто повернувшись к Марко, она обнимает его, прижимается к его груди, пытается сдержать слезы, но безуспешно, начинает смеяться. Марко одной рукой крепко держит ее, а другой дергает за волосы.

Марко. Не смотри на меня так.

Анна. Не буду. Я не буду на тебя смотреть. Не буду радоваться тому, что ты здесь, не буду целовать тебя, потому что я люблю тебя. Не буду цепляться за тебя, потому что хочу тебя удерживать. Не буду спрашивать, как ты себя чувствуешь, или пытаться узнать, не измучен ли ты, хочешь ли ты жить или хочешь покончить с собой. Это так тяжело, Марко, ты бесцеремонен.

Марко осторожно высвобождается из объятий Анны. Подходит к полкам с бесчисленными коробками с пленкой, пальцем указывает на номера и обозначения.

Анна (овладев собой). Что-нибудь хочешь посмотреть?

Марко. Мы можем начать с того, на чем ты закончила.

Анна, недолго поискав на самой нижней полке, берет пленку и звуковое сопровождение, заряжает аппарат.

Анна. Я работала над этим материалом тринадцать месяцев. Ты обязан мне помочь!

Марко (мягко). Конечно, я помогу тебе.

Анна. Если бы я имела возможность хоть бы время от времени задавать тебе вопросы.

Марко. Не могла ли бы ты раздобыть мне чего-нибудь поест? Я имею в виду, в случае, если мы собираемся работать до вечера.

Анна. Буфет закрыт, сегодня же воскресенье. Но здесь, за углом, есть маленький ресторанчик. (Радостно.) Я принесу чего-нибудь вкусенького, поедим вместе.

Марко. Было бы здорово.

Анна. Я вернусь через пару минут.

Внезапно она начинает смеяться, ей радостно, она полна доверия, легко гладит его по щеке. Надевает куртку поверх белого халата и бросается к выходу.

Анна (в дверях). Ты не убежишь, пока меня не будет?

Марко. Не забудь купить бутылку вина. Мы должны отпраздновать это событие!

Анна (радостно). Естественно, отпразднуем.

Она стремительно сбегает по лестнице. Марко слышит ее быстрые шаги, слышит, как хлопает входная дверь. На мгновение он застывает в неподвижности, потом медленно направляется к монтажному столу, запускает аппарат. С ухмылкой смотрит на бегущие кадры. Потом берет себя в руки, открывает дверь, приносит канистру с бензином и начинает поливать им пол, стены, монтажный стол и полки. Опустошив канистру, он отступает к двери и бросает пару зажженных спичек внутрь комнаты. Происходит мощный взрыв, и столб пламени отбрасывает Марко назад. Аппарат на монтажном столе продолжает жужжать, из него доносятся песни и музыка, но вскоре эти звуки заглушает гудение огня.

Бесчисленные коробки открываются от жары, бобины с пленками выпрыгивают из огня, ведут себя как живые существа, кружатся, словно огненные колеса, высоко подпрыгивают, некоторые вздымаются в центре в виде пирамиды, другие, точно одержимые тайными силами, летают между стен, прежде чем опуститься в гудящее огненное море. Аппарат остановился. Огонь, добравшийся до кадров, разъедает их, звуковая запись плавится в своей тарелке, вот взрывается окно, и тяжелая штора развевается горящим знаменем на сильном сквозняке.

Анна услышала взрыв, она бежит по заснеженной лужайке, вскоре весь дом уже охвачен огнем. Альберт Куммер остановился на расстоянии. Он кричит Анне, велит возвращаться, кричит, что в любой момент все взлетит на воздух. Сработала сигнализация, со всех сторон слышится вой сирен, шум стоит чудовищный.

Тут происходит мощный взрыв, крыша взлетает в воздух, рушится одна торцовая стена. Кто-то оттаскивает Анну, крепко держа ее за руку. Это Марко. Он что-то ей говорит, смеется, опять что-то говорит, но она не слышит, звук сирен оглушает. Анна в бешенстве, она дает Марку пощечину, кричит на него, он, смеясь, защищается. Альберт Куммер бежит по глубокому снегу, хватая обоих, крепко прижимает к себе, пытается обнять. Марко вырывается, падает навзничь, он по-прежнему смеется, мимо с диким воем проносится пожарная машина.

Марко (Альберту). Теперь, во всяком случае, ты получишь страховку!

И срывается с места, исчезает, как крошечная черная точка, несущаяся навстречу бескрайнему белому простору. Альберт Куммер стоит в снегу на коленях, крепко держит Анну, у него идет кровь из носа.

Альберт (кричит). Подожди, Марко! Остановись!

Анна, держа очки Альберта, пытается носовым платком, который весь в снегу, остановить кровь из носа.

Альберт (кричит). Марко, вернись. Мы сделаем другой фильм.
Анна (гневно). Этого я ему никогда не прощу.

В эту же секунду весь дом взрывается. Продольные стены рушатся в огне и дыму. Анна и Альберт отбегают, подгоняемые невыносимым жаром. Через некоторое время они останавливаются, оборачиваются и наблюдают за величественным зрелищем.

Мюнхен, 4 марта 1978 г.

INDRIK Publishers has the exceptional right to sell this book outside Russia and CIS countries. This book as well as other **INDRIK** publications may be ordered by

e-mail: nina_dom@mtu-net.ru

or by tel./fax: +7 095 959-21-03

Ингмар Бергман



ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Корректурa
Т. И. Томашевская

Оригинал-макет
М. С. Кудинова

При оформлении использован рисунок
Е. А. Чигиревой

Издательство «Индрик»

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции (ОКП) — 95 3800 5

ЛР № 070644, выдан 19 декабря 1997 г.
Формат 60x90 ¹/₁₆. Гарнитура «Литературная». Печать офсетная.
14,0 п. л. Тираж 800 экз. Заказ № 11130.

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных диапозитивов в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6

